8P A 487

510148

## РАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

какъ художникъ и моралметъ.



критическій очеркъ

Барона Р. А. Дистерло.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Н. А. ЛЕВЕДЕВ

тосп. д. 8.

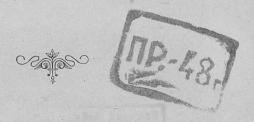
NOTIFIED THE 193 5. ATHMUN. PESOBAHNE Шифр HOTKO Sylver Sylver Ep. 2010

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МОРАЛИСТЪ.



критическій очеркъ

Барона Р. А. Дистерло.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія **Н. А. Леведева**. Невскій просп. д. 8. 1887.

777923 1335 r.

8/1018

1.3 [Toncrow AH]-3

8 P A487 1040

> Научная быблыстово Урадьского Госуниверситета г. све

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издавая особою книжкою настоящіе очерки, печатавшіеся въ прошломъ году отдільными статьями въ "Неділів", считаю не лишнимъ предупредить читателя, чтобы онъ не искаль въ нихъ подробнаго разбора и всесторонней оцінки произведеній графа Л. Н. Толстого. Журнальная работа не могла задаваться подобными цілями, для осуществленія которыхъ въ данномъ случаї потребовался бы объемистый трудъ и много времени. Въ своихъ очеркахъ я иміль, главнымъ образомъ, въ виду—намітить основныя идеи въ творчестві нашего знаменитаго писателя.

Собирая эти очерки въ одно цѣлое, я надѣюсь, что въ такомъ видѣ они болѣе будутъ отвѣчать своей задачѣ и, быть можетъ, окажутся небезъинтересными для читателей. Общій характерь и сущность содержанія очерковъ остаются безъ измѣненія въ настоящемъ изданіи, хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сдѣланы довольно значительныя исправленія и добавленія.

Авторъ.



литическая идея властвовала налъ сознаніемъ человъка и полчинила себъ всъ сферы его умственной являтельности: къ политикв пришла госполствующая философія въка, поставившая на вершинъ научной іерархіи соціологію; проникла политическая струя и въ поэзію и заставила ее сділаться выразительниней политическихъ илеаловъ, симпатій и неголованій: наконець, даже этика, и та б'яжала изъ внутренняго міра челов'єка и въ характерной форм'є утилитаризма опять-таки требовала служенія обществу. Политика слъдалась для многихъ дюдей дъдомъ всей ихъ жизни, группировала ихъ въ партіи, разрывала старинныя, кровныя узы, устанавливала новыя связи. Словомъ, если-бы мы разсматривали девятнанцатый въкъ какъ художественное произведение, то могли-бы сказать, что его навось — въ политикъ, что политика обнимаетъ трагедію въка.

Читатель, конечно, уже догадался, что упомянутый нами голосъ, раздавшійся протестомъ противъ односторонняго направленія нашего вѣка, принадлежить графу Л. Толстому. Въ его лицѣ судьба какъбы нарочно хотѣла произвести экспериментъ самостоятельности и живучести духовныхъ потребностей человѣка. По собственнымъ словамъ графа, которыя нисколько не противорѣчатъ тому, что извѣстно о его личной жизни, онъ пользовался матеріальнымъ достаткомъ, хорошимъ здоровьемъ, имѣлъ прекрасную семью; кромѣ того, онъ имѣлъ славу, рѣдкую славу первокласснаго художника, пользовался всеобщимъ уваженіемъ и несмотря на это, онъ не былъ

счастливъ, онъ мучительно страдалъ отъ неразръшенныхъ вопросовъ жизни, отъ невозможности удовлетворить своимъ духовнымъ потребностямъ. «Зачёмъ мнё жить, зачёмъ что-нибудь желать, зачёмъ что-нибудь дёлать? Что выйдеть изъ того, что я дёлаю нынче, что буду дълать завтра, — что выйдеть изъ всей моей жизни? Есть-ли въ этой жизни такой смыслъ, который не уничтожился-бы неизбъжно предстоящею мик смертью?» Воть какой вопрось ставило передъ нимъ сознаніе и неотступно требовало отвъта, вымогая его страшною тоскою и тъмъ ощущениемъ пустоты и ненужности жизни, отъ котораго хочется избавиться хотя-бы путемъ самоубійства. Отвъть на вопросъ, или смерть-къ такой дилемит свелась внутренняя жизнь автора «Исповеди»: иначе нельзя уйти отъ вопроса, такъ какъ нельзя перестать сознавать то, что сознаешь.

Часто приходится слышать, что поставленный графомь Толстымъ вопросъ есть вопросъ праздный, что трудность его разрѣшенія можетъ терзать только людей, непокорныхъ общему закону труда, незнающихъ куда дѣвать свой обезпеченный досугъ, и что всѣ эти терзанія совершенно чужды тому, кто долженъ заработывать себѣ «хлѣбъ насущный». Мы не можемъ не отмѣтить здѣсь, что подобное отношеніе къ вопросу въ дѣйствительности встрѣчается чаще всего у людей практическихъ, много трудящихся, мысль которыхъ постоянно прикована къ какомунибудь спеціальному дѣлу и потому недоступна для прочихъ вопросовъ человѣческаго сознанія. Уже одно

8/101

я перестану быть чёмъ либо для него, оно —для меня. Не удовлетворило это вёрованіе вёка и графа Толстого. Въ своемъ скептицизмё онъ не могъ остановиться на полдорогё и продолжаль искать отвёта на свое: зачёмъ? «Зачёмъ жить, искать чего-либо, чтонибудь дёлать, когда не нынче-завтра придутъ болёзни и смерть, и ничего не останется кром'є смрада и червей»...

Глѣ-же искать отвѣта на этотъ вопросъ? Графъ Толстой прежде всего обратился къ знанію, и въ наукъ, въ этой гордости современнаго человъка, искалъ объясненій на въчные вопросы жизни. Но, ознакомившись съ ея характеромъ, графъ пришелъ къ мысли, что наука не можетъ дать отвъта на поставленный вопросъ. Этотъ тезисъ не заключаетъ въ себъ ничего неожиданнаго, противъ него едва-ли ктолибо будеть спорить въ наше время; но тезисъ этотъ въ высшей степени характеренъ для переживаемой нами эпохи и ведетъ современную мысль ко многимъ весьма важнымъ выводамъ. Этимъ-же тезисомъ обусловлены и дальнъйшіе выводы графа. Придя къ убъжденію, что наука, вообще разумъ неспособень разрѣшить основныхъ вопросовъ человѣческаго сознанія, и зная, однако, что вопросы эти разръщались въ исторіи, графъ Толстой сталъ искать другого источника ихъ разръшенія и нашель его — 66 въргь. Въ этомъ словъ-центръ тяжести всей философін автора «Испов'яди», въ этомъ слов'я—то новое, что привлекло къ ней внимание общества. Привычная намь, господствовавшая въ девятнадцатомъ сто-



Научная библиотака Уральского Госуниверситета г. Свердловек

льтіи, раціоналистическая философія раскалывала человъческую личность и провозглащала верховенство одного ея элемента-разуму. Всю сферу сознательной жизни человъка она полчиняла разума и въ немъ видъла единственное средство для удовлетворенія всёхъ духовныхъ потребностей. Она признавала за истину только то, что можно было локазать изъ разума, что допускало логическую повърку. Усомнившись въ универсальномъ значеніи разума. графъ Толстой обратился къ другой способности человъка, никогда собственно не перестававшей въ немъ дъйствовать, но забытой теоретиками и мыслителями. Для истины онъ требоваль не логическаго основанія, а той внутренней ея силы, которая уловлетворяетъ живого человъка. Въ дъйствительности человъкъ сплошь и рядомъ живетъ не тъми идеями и правилами, которыя можеть разумно доказать, а тъми, въ которыя онъ въритъ, которыя признаетъ интуитивно и сообразно которымъ обыкновенно дъйствуеть. Эту-то практическую способность Толстой возводить въ основной принципъ своего ученія. «Въруй и спасенъ будешь» — говорить онъ.

Но въра спасетъ только дъйствительно върующаго, а не того, кто лишь сознаетъ ея спасительную силу. Философія-же Толстого, какъ намъ кажется, способна привести именно къ этому послъднему результату. Она прекрасно раскрываетъ значеніе въры, но не даетъ ей дъйствительнаго содержанія. Она возбуждаетъ желаніе, жажду въры, но въ ней не во что върить. Авторъ «Исповъди» говорить, что онъ принялъ въру

народа, принялъ христіанство, но въра эта не сообщается читателю,—не сообщается, быть можеть, потому, что для увлеченія въ въру нужны фанатики, пророки, «глаголомъ жгущіе сердца людей»; въ лицѣже графа Толстого передъ нами всегда человъкъ анализа, всегда скептикъ. Върить просто, какъ върить народъ и дѣти, графъ не можеть; онъ не можеть не относиться критически, а потому не могъ принять и всего ученія въры, со всѣми его атрибутами. Самое евангеліе графъ въ сущности не проповъдуеть, а доказываеть значеніемъ его для земной жизни, для земного счастья чсловъка (См. въ особенности: «Въ чемъ счастье?»).

Въ концъ концовъ оказывается, что въра и христіанскія истины необходимы человъку потому, что ими обусловливается самое совершенное, самое глубокое, самое человъчное счастье.

А что-же основной вопросъ о смыслѣ жизни? Развѣ теперь мы не можемъ спросить: зачѣмъ это высокое счастье, когда завтра придетъ смерть и унесетъ меня въ бездну небытія? На этотъ вопросъ философія графа Толстого опредѣленно не отвѣчаетъ. Человѣкъ девятнадцатаго столѣтія не умеръ въ немъ...

Обращаясь къ этой связи философіи гр. Толстого съ умственнымъ движеніемъ вѣка, мы не можемъ не отмѣтить того значенія, которое имѣль для нея позитивнаят. Позитивная философія, какъ извѣстно, признала полную несостоятельность и безсиліе человѣческаго разума въ вопросахъ о конечныхъ цѣляхъ

и причинахъ и, отмежевавъ себъ область реальныхъ явленій, вовсе перестала заниматься этими метафизическими, по ея терминологін, вопросами. Такимъ образомъ приведенный выше тезисъ графа Толстого. что наука не можеть объяснить смысла и цёли жизни,-этотъ тезисъ быль подготовленъ работою позитивной мысли. А потому и вытекающее изъ этого тезиса исканіе новыхъ источниковъ истины также было обусловлено началами позитивной философіи. Прежде чъмъ искать этихъ новыхъ источниковъ, чедовъчеству необходимо было изжить свою въру въ разумъ, который до появленія позитивизма не переставаль дёлать попытки къ разрёшенію всёхъ вопросовъ духа и въ качествъ такихъ попытокъ оставиль намъ много великолъпно построенныхъ философскихъ системъ.

Но если фаза позитивнаго направленія челов'єческой мысли должна была предшествовать идеямъ гр. Толстого, то самыя идеи его далеко не укладываются въ рамки позитивизма. Въ то время, какъ аденты позитивной школы все еще признавали разумъ и его методы единственными путями къ истинъ и, ограничивъ его значеніе, съумъли какимъ-то непостижимымъ образомъ вовсе отказаться отъ тъхъ вопросовъ, на которые онъ не могъ отвъчать, и успоконлись на разръшеніи относительныхъ и ограниченныхъ проблеммъ знанія, — въ это время графъ Толстой не переставалъ стремиться къ ръщенію въчныхъ вопросовъ жизни, и разувърнящись въ старомъ раціональномъ пути, сталъ на новый путьпуть въры. Съ другой стороны, связь въка съ гр. Толстымъ проявляется въ указанной уже нами особенности его философіи, которая заставляетъ видъть въ немъ прежде всего не върующаго въ опредъленные догматы, а *теоретика* въры, утверждающаго принципъ въры для человъческой жизни. Эти то черты, сближающія гр. Толстого съ его временемъ, и дълаютъ его родственнымъ намъ и обусловливаютъ то вліяніе, которымъ онъ пользуется.

Французскій критикъ де-Вогюэ, въ своей статьъ о гр. Толстомъ (Les écrivains russes contemporains. Revue des deux Mondes, 15 juillet 1884). говорить, что западный челов'вкъ, какимъ критикъ несомн'вино считаеть и себя, не найдеть въ философіи графа «оригинальной мысли; онъ увидить въ ней только первый лепеть раціонализма, старую мечту о мелленіумъ, преданіе, постоянно возобновлявшееся съ начала среднихъ въковъ - у вальденцовъ, лодлардовъ, анабантистовъ», и затъмъ восклицаетъ: «Счастливая Россія—для нея еще новы эти прекрасныя фантазіи!»— Этотъ взглядъ почтеннаго критика мы считаемъ глубоко ошибочнымъ. Философія графа Толстого, какъ мы старались показать, есть органическій продукть девятнадцатаго въка, который вовсе не безслъдно прошель для Россін, какъ думаеть критикъ. Философія эта-не «первый лепеть раціонализма», а напротивъ, реакція цёльной человеческой личности противъ исключительнаго господства разума, противъ исключительно внёшняго направленія человіческой явятельности, и если признаки раціонализма двиствительно присущи этой философіи, то не потому, что она есть пробужденіе раціонализма, какъ это было въ средніе вѣка, а потому, что авторъ ен не могъ избавиться отъ нихъ, какъ сынъ своего вѣка. И если Россіи дѣйствительно суждены какія-либо «прекрасныя фантазіи», то, послѣ всего пережитаго, фантазіи эти не могутъ быть простымъ повтореніемъ старыхъ иллюзій...

Какъ видить читатель, мы не имѣли въ виду разбирать самое содержаніе философскихъ произведеній гр. Толстого; мы хотѣли только охарактеризовать его какъ интересное явленіе русскаго духа. Впослѣдствіи мы вернемся къ этимъ произведеніямъ; теперь - же разсмотримъ, въ какомъ отношеніи стоятъ они къ художественной дѣятельности гр. Толстого.

## П.

Общая характеристика художественнаго творчества графа Толстого

Говоря о позднъйшихъ нравственно-философскихъ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстого, мы признади въ немъ представителя того новаго въ девятнадцатомъ столътіи направленія мысли, которое, минуя политические интересы и злобы, отправляется отъ конкретной человъческой личности и ищеть отвъта на неизбъжные, въчные вопросы сознанія, — тъ вопросы, въ которыхъ скрывается смыслъ человъческой жизни. Останавливаясь теперь передъ тёмъ, что создаль графъ Толстой какъ художникъ, и желая опредёлить общій характерь и значеніе его художественнаго творчества, мы естественно прихонимъ къ вопросу объ отношеніи, существующемъ между двумя различными элементами деятельности знаменитаго писателя — философскимъ и художественнымъ. Являются-ли философскія произведенія гр. Л. Н. Толстого съ ихъ характернымъ содержаніемъ чъмъ-то неожиданнымъ въ литературной карье-

ръ давно знакомаго намъ художника, --чужды-ли они той умственной физіономіи писателя, которая выстунаеть передъ нами изъ его художественныхъ созданій, оторвался-ли онъ оть своего луховнаго прошлаго. вступивъ на новый путь дъятельности, какъ думають многіе, или, напротивь, не проникнуты-ли хуложественныя концепціи и философскія проблеммы нашего автора тёмъ внутреннимъ единствомъ, которое позводило-бы видёть въ нихъ произведенія одной и той-же върной себъ личности, не существуетъ-ли лаже извъстной преемственной связи межиу поэтическимъ творчествомъ и философскими исканіями графа Толстого (это мнѣніе также было высказано въ нашей литературѣ)-вотъ вопросъ, на который мы постараемся отвътить прежде всего. Мы начинаемъ съ этого вопроса характеристику художественнаго творчества Л. Н. Толстого еще и по соображеніямъ логической цёлесообразности. Дёло въ томъ, что признакъ, которымъ мы опредълили характеръ философскихъ возэрёній гр. Толстого, въ высшей степени удобопримънимъ и къ художественнымъ произведеніямъ и по значенію своему способенъ стать основаніемъ едва-ли не самой общей и широкой ихъ классификаціи.

Поэзія или словесное творчество отъ начала своего возникновенія и понынѣ тяготѣла всегда къ двумъ различнымъ центрамъ, направлялась двумъ различными пнтересами — интересомъ къ внѣшнему міру и его явленіямъ и интересомъ къ содержанію внутренней жизни человѣка. Это дѣленіе на первый

это даетъ основание предполагать. что люди этиплохіе судьи въ вопросъ, имъвшемъ такое трагическое значение для гр. Толстого. По существу-же мнъніе ихъ нетолько не отрицаеть возможности такого вопроса, но даже нисколько не уменьшаеть его значенія. Вёдь одно изъ двухь: или обязательный труль не допускаеть въ сознание этотъ вопросъ, такъ сказать, вытёсняеть его изъ мысли человёка, или трудящійся не терзается этимъ вопросомъ потому, что въ самомъ трудъ находить отвътъ на него, удовлетвореніе своихъ душевныхъ стремленій. Но первый случай вовсе не исключаеть возможности появленія этого вопроса у всякаго человика, разъ только облегчено будеть его положение, и доказываеть лишь то, что постоянно-трудовая жизнь не даеть человъку возможности развить всю полноту своей личности и подавляеть въ немъ много духовныхъ потенцій; второй-же-прямо предполагаеть вопросъ и витстъ съ тъмъ даетъ и отвътъ на него. Слъдовательно, во всемъ этомъ возражении нътъ ни одного аргумента противъ общечеловъческаго значенія поднятаго гр. Толстымъ вопроса. За такое-же его значение говорять какъ его элементарность и психологическая необходимость, такъ и исторические факты, показывающие, что съ тъхъ поръ, какъ человъчество помнить себя, оно знаеть и этоть вопрось. Религін, начало которыхъ теряется во мракъ времени, представляются въ сущности ничёмъ инымъ, какъ ответомъ на него.

Оказывается, слёдовательно, что графъ Толстой подняль старый, лучше сказать, вёчный вопросъ

въ которомъ нътъ ничего существенно новаго, оригинальнаго. Опигинально только самое возбуждение. самая постановка вопроса въ то время, когда кругомъ считали его давно поръшеннымъ и о немъ не лумали (кром' небольшой группы несолидарных съ въкомъ людей). Возбуждение этого вопроса характеризуеть графа, какъ умъ въ высшей степени самостоятельный и глубоко скептическій. Независимые. пытливые, чуждые пассивной воспріимчивости, лишенные способности видъть истину въ господствующемъ въ ихъ время мнаніи, эти умы бывають обыкновенно поворотными точками въ исторіи умственной жизни человъчества. Мы уже видъли, что современное графу Толстому человъчество представляло какъ-бы гигантскій муравейникъ, гдё каждый муравей считаль своимъ долгомъ и своимъ назначеніемъ стремиться къ усовершенствованію цёлой кучи и въ этомъ усовершенствованіи видіть достаточную ціль и своей личной жизни. Очевидно, что такое представленіе цёли и смысла жизни могло удовлетворять человъка только до тъхъ поръ, пока онъ въ него въроваль, пока относился къ нему наивно, некритически; при первомъ-же прикосновеніи испытующей мысли, представление это необходимо разваливалось. такъ какъ въ немъ въ сущности нътъ никакого отвъта на вопросъ о цъли жизни, а только перестановка, перифразъ самаго вопроса, который теперь являлся въ формуль: зачемъ мне содействовать благосостоянію и развитію челов'їчества, когда смерть неизбъжно оторветь меня отъ этого человъчества, и

взглядъ кажется тождественнымъ съ общепринятымъ въ курсахъ эстетики дъленіемъ поэзін на эпическую и лирическую. Однако, принять это тождество было-бы ошибочно. Дъление поэзи на эпическую и лирическую есть дёленіе формальное, основанное исключительно на формъ поэтическихъ произведеній. Поэтому оно, во-первыхъ, не обнимаетъ всей сферы поэзін и останавливается у границъ третьяго рода поэтического творчества-драмы, и, во-вторыхъ, относить къ лирикъ лишь тъ произвеленія, глъ нътъ объективнаго изображенія жизни, гдв авторъ говорить отъ своего собственнаго лица: все-же прочее. какихъ-бы глубинъ внутренней жизни оно ни касалось, обнимается въ понятін эпоса. Намфченная-же нами классификація основывается на содержаніи произведенія, на мотив' творчества, на точк зрънія художника. Поэтому она обнимаеть всё произведенія изящнаго слова, не исключая и драмы, которая можеть разработывать и чисто психологическій сюжеть, а можеть также воспроизводить и различіе бытовыхъ типовъ. Въ этомъ отношеніи интересно сравнить, напр., трагедіи Шексипра, раскрывающаго намъ тайны человъческаго духа, и комедін или драмы Островскаго, рисующаго быть московскаго кунечества. Но если Шекспиръ и Островскій сравнительно легко распредъляются по разнымъ категоріямъ предлагаемой классификаціи, то нельзя сказать, чтобы операція эта вообще была легко выполнима; относительно-же нѣкоторыхъ писателей она представляеть, какъ и всякая классификація, весьма

значительныя трудности. Трудности эти зависять. главнымъ образомъ, отъ того, что жизнь человъкаэтотъ неизмѣнный предметь поэзіи-есть соединеніе элементовъ внутренняго и внъшняго: человъкъ не живетъ только внутреннею жизнью, только идеями и настроеніями, но необходимо принадлежить и внішнему міру, необходимо занимаєть въ немъ опредъленное мъсто и своими лъйствіями и отношеніями къ природъ и дюлямъ необходимо создаетъ извъстную форму своей жизни; съ другой стороны-внъшняя оболочка жизни, явленія и формы челов'яческаго быта возникли не сами собой изъ внъшняго міра. существують и развиваются не изъ самихъ себя, не дъйствіемъ постороннихъ человъку силь природы, но суть продукты и проявленія духовной діятельности человъка. Изображая дъйствительность человъческой жизни, поэзія естественно береть ее во всемь ся составъ, съ ея тълесными формами и внутреннимъ содержаніемъ, и еслибы мы должны были основывать нашу классификацію поэтическихъ произведеній на исключительномъ присутствіи какого-либо одного изъ указанныхъ элементовъ, наша задача была-бы совершенно невыполнима. Полнаго разделенія этихъ элементовъ не существуетъ ни въ одномъ произведеніи (кромъ чисто дирическихъ пьесъ, о которыхъ мы здёсь не говоримъ, такъ какъ имеемъ въ виду только объективное творчество), и только въ весьма немногихъ-художественный анализъ, очищая избранный сюжеть отъ всего посторонняго, делаеть очевиднымъ несомнънное преобладание того или другого элемента.

Такія внутреннія драмы человіческаго духа, какъ «Фаустъ» Гете, «Прометей» Эсхила и т. пол., не вызовуть, конечно, разногласія при ихъ классификаціи, какъ не вызовуть его съ другой стороны произведенія общественной сатиры съ ихъ «Разуваевыми». «Помпадурами», «Прокопами», «Ныбами» и т. н. Но какъ быть передъ другими произведеніями, какъ быть передъ реальнымъ романомъ, передъ современною комедіею, гав нераздёльно слиты моменты внутренней и внъшней жизни? Здъсь необходима уже строгая и правильная постановка вопроса о классификаціи, необходимо точное опредъленіе ея основанія. Основаніемъ этимъ остается все та-же указанная нами уже принадлежность произведенія внутреннему или внъщнему міру, средствомъ-же распознаванія этой принадлежности должна быть творческая илея художника, замысель, воплотившійся въ данномъ произведеніи, та точка зрінія, съ которой смотрель художникъ на жизнь въ моментъ творчества. Стремился-ли онъ показать намъ содержание душевной жизни человъка, раскрыть судьбу и законы его страстей и желаній, или его интересовала та или другая форма быта, складъ жизни семейной и общественной, существующей въ извъстномъ мъстъ, характерный для извъстнаго времени и народа-вотъ что должно ръшать вопросъ о принадлежности даннаго произведенія къ той или другой категоріи указанной системы. Съ такимъ критеріемъ мы не ошибемся уже въ опредъленіи характера художественнаго произведенія, какъ-бы ни переплетались въ немъ

элементы вибшней жизни съ внутренними состояніями человіческой души. Возьмемъ, напримірь, произвеленія Лостоевскаго и Тургенева, характеристика которыхъ съ указанной точки зрвнія прелставляеть, быть можеть, наиболье трудностей. Но несмотря на всё эти трудности, мы имбемъ однако полную возможность разлёдить съ помощью найденнаго критерія всь произведенія этихъ писателей на двъ группы. Такіе романы Лостоевскаго, какъ «Идіотъ», «Преступленіе и наказаніе», «Попростокъ» и рядомъ съ ними такія Тургеневскія повъсти, разсказы и новеллы, какъ «Пъснь торжествующей любви», «Фаусть», «Вешнія волы», «Лишній человъкь» отойдуть въ одну группу произведеній съ психологической концепціей; между тёмъ какъ «Бёсы» н «Братья Карамазовы» Достоевского и всъ крупныя произведенія Тургенева, его «Рудинъ», «Наканунь», «Дворянское гньздо», «Отды и дьти», «Дымь» «Новь» — все это запечатлёно уже другимъ характеромъ, характеромъ произведеній, стремящихся представить изв'єстную общественную эпоху, создать типы человъческой жизни, являющеся намъ въ потокъ времени и исчезающіе съ его уходящими волнами. Этой характеристикъ доступны нетолько отдъльныя художественныя произведенія, но и самая личность художника. Всякій писатель непремённо тяготёсть своими интересами или къ внутренней жизни личности, или къ явленіямъ и возможностямъ соціальнаго порядка. Такъ и изъ названныхъ нами хуложниковъ-Достоевского непрестанно манять вершины

и бездны человъческаго духа, и это стремление въ немъ настолько сильно и постоянно, что онъ не можетъ удержаться въ предълахъ какой-либо соціальной темы и уходитъ всегда изъ рамокъ бытовой картины въ глубину исихологическаго анализа. Въ Тургеневъ—другая складка: его интересуетъ преимущественно не самъ по себъ человъкъ, не тъ характеры и положенія, въ которыхъ всего разительнъе и ярче проявились-бы основныя силы его исихической природы, но та культурная атмосфера, тъ умственныя, идейныя теченія въ человъческихъ обществахъ, которыя смъняются едва-ли не съ каждымъ поколъніемъ и которыя направляютъ сознательную дъятельность человъка.

Если мы обратимся теперь къ графу Толстому. то увидимъ, что все его творчество насквозь проникнуто неизмѣннымъ и напряженнымъ интересомъ къ человъку, къ его личной жизни. Каждое произведеніе его раскрываеть намъ что-либо изъ этой жизни. Повъсть «Дътство, отрочество, юность» ноказываеть намъ послъдовательныя фазы жизни ростущаго и развивающагося человъка, схватываетъ своеобразную психологію каждаго возраста; «Севастопольскіе и кавказскіе разсказы» изображають судьбу человіка на войнъ; романъ «Семейное счастье» показываетъ неизбъжный исходъ пдеализированной любви, разръшившейся бракомъ; «Анна Каренина»-неумолимую Немезиду за торжество любви, поправшей всв человъческія обязанности. Словомъ, вездъ авторъ слъдить за судьбою отдёльной личности, интересуется вопро-

сомъ: какъ живется на землъ человъку? и никогда не занимается сопіальными темами. Сомнініе можеть возбудить только «Война и миръ». Историческая основа этого романа и необыкновенно широкій захвать его часто заставляють видъть въ немъ картину наролныхъ лвиженій, заставляють искать его смысла, его основной илеи въ изображеніи этихъ великихъ событій, въ объясненіи того внутренняго механизма. лъйствіемъ котораго они образовались. Совершенно соглашаясь съ тёмъ, что романъ действительно развертываетъ передъ нами широкую панораму народной жизни, не отрицая и того, что въ его художественномъ изображеніи намъ не разъ представляется съ поразительною правною реальный процессъ историческихъ событій, мы все-же склоняемся къ мнънію, что пентръ творческаго интереса при созданін «Войны и мира» лежаль въ личной, а не въ исторической или общественной жизни, и что постоянною думою автора-художника быль не вопрось о причинахъ изображаемых событій, но мысль о томъ, какъ чувствуетъ и сознаетъ себя человъческая личность во всёхъ тёхъ разнообразныхъ положеніяхъ, которыя такъ или иначе связаны были съ этими событіями. Иначе нельзя объяснить того постояннаго, подробнаго и тщательнаго анализа, которому неизбъжно подвергается душевный міръ всякаго изъ дъйствующихъ лицъ романа.

Но открывая въ творчествъ графа Л. Н. Толстого, какъ неизмънный мотивъ его, интересъ къ внутренней жизни человъка, характеризуя самого авто-

ра, какъ художника-исихолога, мы не можемъ не замътить, что произведенія его весьма во многомъ и весьма ръзко отличаются отъ чисто-психологическихъ концепцій. Последнія всегла отвлеченны и самоцельны. Художественное осуществление ихъ даетъ намъ. такъ сказать, анатомо-психологические препараты. Наблюдая жизнь человъческого духа, поэть этого склада выдёляеть обыкновенно изъ сложнаго организма души какую - либо способность, страсть, или чувство, и въ изображеніи природы, силы и движенія этой страсти или чувства видить свою задачу. Міръ человъческаго духа настолько увлекаеть его своими тайнами и необъяснимою произвольностью своего содержанія, что запача раскрыть эти тайны. схватить что-либо изъ содержанія духа естественно представляется для такого реалиста-исихолога самостоятельною и высшею цёлью творчества. Возьмите типичнъйшаго и величайшаго изъ художниковъ-исихологовъ-возьмите Шекспира и посмотрите на созданные имъ образы. Что такое его Гамлеть, Ромео, Отелло, Макбетъ, Брутъ или Антоній-что такое всъ эти герон какъ не представители различныхъ психологическихъ возможностей, какъ не воилошение разсчлененныхъ художникомъ элементовъ духа въ соотвътствующіе челов'яческіе характеры? Въ качеств'я такихъ элементовъ, въ качествъ основаній, для своихъ характеровъ Шекспиръ бралъ всегда отдъльныя способности человіческой души-рефлексію, любовь къ женщинь, ревность, властолюбіе, правственный стоицизмъ, жажду наслажденія-п завязывая и разръшая свои драмы и трагедіи дъйствіемъ той или другой изъ этихъ способностей и страстей, раскрывалъ законы ихъ возникновенія и развитія, обнаруживаль ихъ вліяніе и значеніе въ жизни человіка. Не то у графа Толстого. Надъ интересомъ къ отдельнымъ явленіямъ психической сферы у него преобладаеть интересъ къ жизни въ ея цъломъ, къ сульбъ человъка, къ жребію его на земль. Поэтому героемъ всьхъ его произведеній является человікь, — человікь боліве реальный, болбе полный, чёмь тё исихологическія абстракціи, къ созданію которыхъ приходять художники, спеціально разработывающіе міръ человіческаго духа. Поэтому въ произведеніяхъ своихъ онъ старается исчернать не содержание этого духа, но содержаніе жизни, не разнообразіе человъческихъ характеровъ, но разнообразіе жизненныхъ положеній. У представителей чисто-исихологического интереса на первомъ планъ-характеры, положенія-же-только какъ результать борьбы этихъ характеровъ, какъ средство обнаружить ихъ сущность и значеніе; у гр. Толстого главная задача-постигнуть ту своеобразную и необходимую комбинацію положеній, которая составляеть жизнь человака, тоть фатумь, которому онъ подчиненъ втечение всего своего существованія. Въ его созданіяхъ мы не найдемъ вполнт цъльныхъ характеровъ, не найдемъ чистыхъ психологическихъ типовъ; зато ни одинъ писатель (кромъ древне-греческихъ классиковъ, стремящихся раскрыть предназначенную человъку судьбу) не захватываеть жизнь человъка такъ широко, не проводитъ своихъ

героевъ черезъ столько разнообразныхъ положеній. не следить за ними такъ долго и такъ упорно, какъ графъ Толстой. Дочитывая его романы и повъсти, не испытываешь того неудовлетвореннаго чувства. которое невольно является у васъ напр. на послъдней странинъ произведеній Тургенева, имъющаго обыкновеніе опускать занавісь надъ неоконченною и иногда даже не опредълившеюся жизнью своихъ героевъ, лишь только минуетъ поэтическій моментъ ея. У Толстого нътъ мъста вопросу: что-же дальше? Съ окончаніемъ произведенія кончается и изображаемая имъ жизнь, или по крайней мъръ доводится до состоянія той ясности и опреділенности, которая уже не возбуждаеть вопросовъ. Припомните его персонажи-Анну Каренину, Вронскаго, Кити, Левина. брата его Николая, Кознышева, Болконскаго, его жену, Ростова, Наташу, Пьера, героевъ «Семейнаго счастья», героевъ Севастополя и кавказскихъ походовъ; всѣ эти лица, конечно, въ высшей степени характерны и индивидуальны, но это во всякомъ случав не тв отлитыя изъ одного металла фигуры. какими представляются намъ Отелло и Макбетъ Шекснира, или даже Идіотъ и Иванъ Карамазовъ Постоевскаго. Съ другой стороны, какъ подробно разсказана намъ судьба всёхъ этихъ людей! Въ жизни ихъ авторъ не оставилъ ни одной тайны, не оставилъ ничего недосказаннаго. Стремясь къ изображенію правды этой жизни, онъ не боится и не избъгаеть никакихь изъ ен проявленій, какь-бы они ни были обидны и разрушительны для взлелеянныхъ

человъкомъ идеаловъ, для тъхъ иллюзій, съ которыми онъ не можеть разстаться и которыми тёшится въ своемъ стыпливомъ полунезнаніи. Працировать жизнь, завъшивать ея страшный и подчасъ отвратительный остовъ красивыми покровами-графъ Толстой не могъ никогда; напротивъ, ему гораздо больше улыбалась задача сорвать тъ уборы и пестрыя тряпки, въ которыя закутало человъчество свою жизнь. и показать ее во всей ся наготъ и правдъ. Въ этомъ смыслъ его не безъ основанія называють пессимистомъ и отрицателемъ. «Не обманывать себя человъку-не жить ему на землъ, сказалъ гдъ-то Тургеневь, этоть великій мастерь въ изображеніи тъхъ очарованій и иллюзій, которыми красна наша б'ядная жизнь. Пругой поэть о томъ-же предметъ выразился еще сильнъе въ извъстномъ стихотворномъ афоризмъ: «Тъмы низкихъ истипъ мнъ дороже насъ возвышающій обмань». И воть эти-то «возвышающіе обманы» безпощадно разоблачаеть въ своихъ произведеніяхъ графъ Толстой.

Смълыми и необыкновенно-правдивыми картинами человъческихъ битвъ и сраженій онъ разсъеваетъ тотъ сотканный изъ славы и доблести ореолъ величія, которымъ, точно какимъ-то таинственнымъ нимбомъ, была окружена въ глазахъ всѣхъ народовъ война. Въ исторіи Наташи («Война и Миръ») и Кити («Анна Каренина») разрушаетъ онъ иллюзію красоты и поэтической прелести дъвственнаго образа, погружая каждую изъ нихъ въ прозу семейной жизни съ неизбъжными заботами объ объдъ, о купаніи и пеле-

наніи дітей и т. п. Въ трагической кончині Анны Карениной разлетаєтся иллюзія візчной страсти. Въ «Семейномъ счастьи» постепенно блекнеть и отцвітаєть поззія супружеской любви. Въ образі Кознышева подвергается сомнінію источникъ общественныхъ стремленій человіка. Въ «Холстомірі» съ неподражаємою художественностью, правдою и послідовательностью проведена зоологическая точка зрінія на человіка, подканывающаяся подъ великій обмань его исключительнаго достоинства и призванія на землів.

Оставимъ, однако, пока въ сторонѣ нессимпзмъ гр. Толстого и возвратимся къ указанной выше отличительной чертѣ его творчества— интересу къ судьбѣ, къ долѣ человѣка. Въ связи съ этою чертою стеятъ еще двѣ выдающіяся особенности творческой манеры Толстого: это, во-первыхъ, замѣчательная объективность или безстрастная деность его изображеній, и во-вторыхъ — реалистическій характеръ его творчества.

Что касается первой изъ этихъ особенностей, то она свойственна произведеніямъ графа Толстого въ высшей степени, въ той степени, которую превосходить изъ всёхъ поэтовъ развъ одинъ Гете, да и то лишь въ немногихъ своихъ созданіяхъ. Впрочемъ, это сравненіе съ Гете нельзя назвать вполнѣ подходящимъ: оно немедленно требуетъ оговорки. Если графъ Толстой въ своемъ творчествъ и не поднимался никогда до олимпійскихъ высотъ спокойствія и выдержанности формы, на которыхъ подолгу си-

живаль Гете, то все-же его нельзя поставить — съ точки врвнія объективности творчества — ступенью ниже нѣменкаго поэта, нельзя потому, что сферы ихъ творчества различны, объекты ихъ созерцанія разнородны. Произведенія Гете, отличающіяся наибольшимъ спокойствіемъ, пластичностью и объективностью-напр. его «Германъ и Доротея»-строго вынержаны въ классически-эпическомъ родъ, въ которомъ замътны развъ лишь слабые намеки на психологическій анализь, тогда какъ у нашего романиста этоть анализь является едвади не главнъйшимъ пріемомъ творчества. И несмотря на это, онъ постоянно сохраняеть объективность и остается ей вёрень въ самыхъ трудныхъ задачахъ анализа. Подчасъ эта объективность его переходить во что-то нечеловическое. Когда вы читаете что-нибудь изъ произведеній Толстого, вы получаете часто такое впечативніе, какъ будто изображаемая имъ жизнь наблюдалась не съ земли, не живущимъ на ней человъкомъ; вамъ начинаетъ казаться, что это какой-то созерцающій духъ, свободный отъ всёхъ условностей земной жизни, чуждый ея интересамъ и страстямъ, слетълъ къ вамъ изъ холодныхъ пространствъ эфира и разсказываеть о томъ, что онъ видълъ на землъ изъ своей голубой дали. Онъ разсказываеть о человъкъ, какъ о какомъ-то существъ въ мірозданіи, разсказываетъ о дъйствіяхъ, привычкахъ, отношеніяхъ этого существа, разсказываеть съ изумительною правдою и глубокимъ пониманіемъ. Мало того, онъ раскрываеть вамъ душу этого человъка, показываеть тончайшую работу его мысли, сокровеннъйшія движенія его чувствъ, порывы его страстей, какъ будто и на это на все онъ смотрълъ съ своей высоты и въ какой-то чудесный телескопъ видёль каждую мысль подъ черепомъ человъка, каждое чувство въ его сердцъ. Несмотря на подробность и глубину этого психологическаго анализа, онъ все-таки производить впечатл'вніе наблюденія надъ объектомъ, впечатл'вніе какого-то изумительнаго постиженія посторонняго предмета; не то, что анализъ Достоевскаго, который такъ и дышеть личнымъ знаніемъ всего изображаемаго. Поэтому намъ кажется, что выраженіе, употребленное когда-то г. Евг. Марковымъ, будто Л. Толстой весь сидить въ душъ человъка, не совсъмъ соотвътствуетъ характеру его творчества и больше было-бы примёнимо къ манерё субъективныхъ художниковъ, въ родъ, напримъръ, Достоевскаго.

Объективизмъ графа Толстого двойными отношеніями связанъ съ присущимъ ему интересомъ къ человъческой личности. Прежде всего онъ дорисовываетъ характеръ этого интереса, окончательно выясняеть намъ его содержаніе. Понявъ творческую манеру Толстого, мы уже не можемъ не видъть, что центръ тяжести его художническихъ интересовъ покоится въ жизни человъка, взятой какъ фактъ природы, какъ извъстное явленіе міра. Это не тъ интересы, которые держатъ художника внутри человъческой личности, заставляя его уходить отъ внъшней правды жизни все въ новыя и новыя глубины духа; еще менъе—это интересы соціальныхъ писа-

телей, стремящихся провести въ жизнь условныя и страстныя квалификаціи своего времени. Это позиція наблюдателя, ищущаго неизменнаго, существеннаго въ жизни, ищущаго постигнуть ея въчную правду. Поэтому вниманіе его всего больше привлекаютъ такіе неизбъжные, общіе факты жизни, какъ смерть, рожденіе, бракъ, любовь, втра, сомнтие и т. д. Высшимъ выраженіемъ художественнаго объективизма графа Толстого и лучшимъ объясненіемъ его созерцательныхъ интересовъ могутъ служить тъ параллели, къ которымь онъ такъ любилъ прибъгать и которыми умълъ говорить такъ много. Вспомнимъ, напримъръ, «Три смерти», гдъ авторъ рядомъ со смертью человъка показываеть намъ, какъ такую-же утрату и печаль природы, смерть дерева; или — повъсть «Казаки», гдъ въ одной картинъ, мы видимъ и ястреба, высматривающаго съ высокаго дерева свою добычу, и казаковъ, подкарауливающихъ враждебныхъ чеченцевъ; вспомнимъ, наконецъ, «Холстомъ́ра», гдъ съ изумительною проницательностью и нечеловъческою почти широтою какого-то пантеистическаго чувства намъ разсказаны исторіи двухъ существъ на землъ-лошали и ея бывшаго хозяина, князя Серпуховскаго.

Но, несмотря на весь его объективизмъ, творчество гр. Толстого не теряется въ безразличномъ изображеніи явленій міра. Оно постоянно руководится и направляется глубокимъ интересомъ къ человѣку, что и составляетъ вторую связь этого интереса съ объективнымъ отношеніемъ Толстого къ изображен-

ному предмету. Интересъ этотъ какъ-бы привязываетъ творчество гр. Толстого къ человъку и въ тоже время какъ-бы согръваетъ его своимъ присутствіемъ. Отъ произведеній нашего художника не въетъ холодомъ индифферентизма: напротивъ, вы чувствуете всегда разлитые въ нихъ лучи горячаго участія и вниманія ко всему человъческому. Всъ глубочайшіе вопросы, которые поднимаетъ авторъ въ своихъ произведеніяхъ, вызваны именно этимъ вниманіемъ, этимъ значеніемъ для него всего доступнаго человъку.

Чтобы понять, въ какомъ отношении къ основному мотиву творчества гр. Толстого стоить вторая изъ указанныхъ нами особенностей его произведеній; ихъ реализмъ, достаточно только взглянуть на нихъ съ этой стороны. Въ произведеніяхъ своихъ графъ Толстой преслёдуеть не только психологическую правду, для которой безразлична случайная правда внъшней жизни и при изображении которой можно перенести дъйствіе и въ надзвъздныя сферы, и въ подземныя бездны ада, и въ прошлое, и въ будущее. Онъ-не абстрактный художникъ, но реалисть въ полномъ смыслѣ слова: онъ не грѣшитъ противъ правды дъйствительной жизни ни фабулою своихъ произведеній, ни типами изображаемыхъ людей, ни обстановкою, среди которой развивается у него дъйствіе. Онъ рясуеть всегда земную жизнь человъка съ ея установившимся складомъ, съ ея необходимымъ содержаніемъ. Онъ глубоко проникся духомъ этой жизни, понялъ тъ силы, на которыхъ она построена,

схватиль тъ формы, въ которыя она отливается, и въ созланіяхъ своихъ какъ-бы непосредственно даетъ намъ самую эту жизнь, или по крайней мъръ ея животрепещущія части: такою свіжею, такою сильною правдою дышать эти созданія. Читая ихъ, невольно поражаенься богатствомъ творческой способности художника, въ которой есть что-то, напоминающее тропическую природу. Какъ въ ея напряженной атмосферь, кажется, рьеть какая-то творящая сила и изъ каждаго сёмени, изъ каждой цвъточной пылинки выводить громадныя пальмы, бананы, папоротники, переплетаеть ихъ ліанами. усыпаеть растеніями-паразитами и чудовищными грибами, и изъ всей этой роскоши растительныхъ формъ создаетъ свои девственные леса, такъ и въ атмосфер'в произведеній Толстого изъ каждой страницы возникаеть художественный образь, въ каждой оброненной фразъ свътится мысль, а иногла и какая-нибудь глубокая истина. Подчиняясь извъстному порядку художественнаго плана, вся эта масса образовъ распредёляется въ опредёленной перспективъ и представляетъ грандіозную картину человъческой жизни.

Но будучи настоящимъ реалистомъ, графъ Толстой никогда не спускался до простого копированія дъйствительности, никогда не переходилъ той черты, гдъ кончалось типическое и начиналось царство случая. Мало того: сфера типическаго не имъла для него значенія сама по себъ. Онъ черпалъ изъ нея лишь настолько, насколько находилъ въ ней характернаго для жизни личности. Безцёльное творчество, творчество ради одной возможности созданія или такъ-называемое искусство для искусства не въ его натурѣ. Онъ никогда не увлекался ни исихологическою, ни соціальною морфологіею. Но такимъ именно и должно быть творчество художника, несущаго, какъ свой девизъ, вопросъ: «чѣмъ люди живы?»

Итакъ, какое-же отношение существуетъ между художественными и философскими произведеніями графа Толстого? Мы полагаемъ, что послѣ приведенныхъ характеристикъ графа въ качествъ философа и художника, отвътъ на этотъ вопросъ не представится труднымъ. Если, ссыдаясь на объективизмъ произведеній нашего знаменитаго романиста, говорять иногда, что его личность до появленія философскихъ его сочиненій была совершенно для насъ неизвъстна, то это происходило обыкновенно отъ того, что читатели, войдя въ міръ созданій Толстого и не находя тамъ словъ прямо отъ его лица, увлекались тёмъ или другимъ предметомъ этого міра и забывали его творца; если-же мы взглянемъ на этотъ міръ со стороны, какъ на нічто цівлое, то увидимъ, что весь онъ произведенъ живущимъ въ душт художника интересомъ къ человъческой личности, интересомъ къ тому, чёмъ живеть эта личность, чёмъ удовлетворяется и отъ чего страдаетъ. А отъ этого--все-же еще объективнаго отношенія къ челов'яку всего одинъ шагъ до того субъективнаго вопроса о цъли жизни, изъ котораго выросло все философское ученіе графа, и если мы ближе присмотримся къ его

художественнымъ произведеніямъ, то окажется, что шагь этоть быль слёлань имъ еще въ качестве художника. Уже одно неутомимое исканіе отвъта на вопросъ: чъмъ люди живы? — исканіе, заставившее графа Толстого останавливаться передъ каждою радостью и приманкою жизни, пока смыслъ и значеніе ихъ не были имъ постигнуты, заставившее его проникать въ самые потаенные уголки человъческой луши, исканіе, окончившееся поголовнымъ почти развънчаніемъ идеаловъ и разжалованіемъ человъка въ какую-то букашку въ мірозданіи — уже одно такое исканіе могло служить несомнѣннымъ признакомъ личной заинтересованности автора въ этомъ вопросъ. Но помимо этого, мы имжемъ и болже положительныя доказательства того, что вопросъ о смыслъ жизни издавна занималь нашего художника. Уже въ «Дътствъ, отрочествъ и юности» маленькій Николай Иртеньевъ, въ жизни котораго какъ-то невольно чувствуешь много черть автобіографическаго значенія, уже онъ задавался этими-же вопросами, а это было въ самомъ началъ литературной дъятельности графа. Болбе настойчиво и опредбленно ставится тотъ-же вопросъ въ лицъ Андрея Болконскаго и въ особенности Пьера Безухова въ «Войнъ и миръ», гдъ вопросъ этотъ изъ характерной для героя черты доростаеть уже до значенія самостоятельнаго художественнаго мотива. Наконецъ, въ «Аннъ Карениной» Левинъ-уже какъ-бы прямой предтеча самого графа Толстого въ его роли философа и моралиста. Левинъ не только носить въ себъ этотъ-же вопросъ о смыслъ человъческой жизни, не только терзается имъ, но приблизительно и ръшаеть его такъ-же, какъ и Толстой. Слъдовательно, никакого разрыва между прошлымъ и настоящимъ нашего великаго художника не произошло, бездна не раздъляетъ эти два періода его жизни, связанные естественнымъ процессомъ внутренняго развитія, и если онъ говоритъ теперь другимъ языкомъ, чъмъ прежде, то думаетъ онъ все ту-же давнишнюю, старую думу.

Графъ Л. Н. Толстой, какъ мы уже сказали, ни въ какомъ случай не можетъ быть названъ представителемъ чистаго искусства: жизнь не интересуетъ его непосредственно, какъ возможный объектъ творчества, какъ форма, способная подняться до чистоты и законченности художественнаго идеала. Съ напряженнымъ вниманіемъ всматривается онъ въ перспективу открывающейся передъ нимъ жизни, но лишь затъмъ, чтобы опредълить значеніе для человъческой личности виднінощихся въ этой перспективів жизненныхъ возможностей. Онъ неотступно ищетъ того, чёмъ можно жить человёку, что можеть удовлетворить присущія ему стремленія, того, что своею силою и красотою утоляло-бы всё жажды, покоряло-бы всё сердца, того, что можно бы показать людямъ какъ благо, въ котороиъ открывается смыслъ жизни п ради котораго стоило-бы жить. На поиски этого блага нашъ художникъ выходить не съ върою въ жизнь, но, напротивъ, съ великимъ сомнъніемъ. Онъ не поддается обаянію каждаго радостнаго впечатлівнія, не увлекается имъ, не поэтизируетъ его. Онъ не хочеть быть обманутымь, какъ-бы ни были пленительны моменты заблужденій; онъ ищеть правды, полной правды человъческой жизни, какъ-бы она ни была сурова, бъдна или ужасна. Пристально слъдитъ онь за челов' комъ во встхъ положеніяхъ его жизни, геніальнымъ воображеніемъ художника вскрываетъ его душу, разбираетъ и анатомируетъ ее, пока не выступаетъ передъ нимъ вся правда этой души во всвхъ ен радостяхъ и наслажденіяхъ, тревогахъ и печаляхъ, пока не обнаруживается та ложь, которую неисправимый идеалисть-человъкъ повсюду примъшалъ къ дъйствительности. Много различныхъ положеній перебраль графъ Толстой въ своихъ произвеленіяхъ. Но чёмъ-же въ конце концовъ явилась ему раскрытая правда жизни? Нашелъ-ли онъ въ ней несомнънныя блага, нашелъ-ли идеалъ, способный удовлетворить человъка, или безпощаднымъ отрицателемъ прошелъ по всей жизни, опустошая ея счастье и радости, какъ своего рода «бичъ Божій»?

Воть вопрось, за разрѣшеніемъ котораго мы обратимся къ произведеніямъ графа Толстого. Вопросъ этотъ не вмѣщаетъ въ себѣ, конечно, полной ихъ критики, но на такую критику мы и не претендуемъ уже въ силу размѣра настоящихъ этюдовъ. Мы ограничивается именно указаннымъ вопросомъ потому, что, пройдя съ нимъ по всѣмъ произведеніямъ гр. Толстого, мы окончательно дорисуемъ личность автора въ его отношеніяхъ къ жизни, въ его міросозерцаніи, а это въхудожественной критикѣ едва-ли не самое важное.

Въ двънадцати томахъ послъдняго, недавно вышелшаго (1886 г.) изданія сочиненій гр. Л. Н. Толстого собраны, кажется, всё когла-либо печатавшіяся художественныя его произведения. Есть, кром'й того, и кое-что новое. Въ этихъ двѣнадцати книгахъ сжатъ ивлый мірь творческой фантазіи, идей, художественныхъ образовъ и откровеній. Войдемъ-же въ этотъ міръ и посмотримъ, что именно возсоздалъ графъ Толстой изъ человъческой жизни и въ какомъ озареніи представляеть онъ намъ различныя ея явленія. Свой обзоръ мы будемъ совершать приблизительно въ томъ-же норядкъ, въ какомъ слъдуютъ одно за другимъ произведенія гр. Толстого въ вышеупомянутомъ ихъ изданіи, оставляя, впрочемъ, за собою право нарушать этотъ порядокъ всякій разъ, какъ только это нокажется намъ нужнымъ или удобнымъ.

## III.

## "Дътство, отрочество, юность."

Повъсть «Дътство, отрочество и юность» — если не самое первое произведение графа Толстого, то во всякомъ случав одно изъ первыхъ. Писалась она впродолжение инти дътъ, отъ 1852 до 1857 года, съ значительными, впрочемъ, перерывами, такъ какъ втечении этого-же времени начинающимъ тогда художникомъ были написаны и нъкоторыя другія изъ его произведеній. Пов'єсть эта, разсказанная отъ лица ея героя, изображаеть жизнь русскаго человъка помъщичьей среды, начиная отъ первыхъ воспоминаній дітства и кончая его юношескимъ возрастомъ. Судя по некоторымъ словамъ автора, какъбы нечаянно сорвавшимся у него въ повъсти, можно думать, что у него быль грандіозный плань — прослъдить жизнь человъка до самой могилы, описать всъ возрасты, какъ описалъ онь дътство, отрочество и юность. Такъ, въ одномъ мъсть онъ нишеть: «Я убъжденъ въ томъ, что ежели мнъ суждено прожить до глубокой старости, и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ и т. д. (I, стр. 240). Если наше предположеніе вѣрно, то можно отъ души пожалѣть, что графъ Толстой не выполнилъ этого плана. Вышедшая изъ подъ его пера книга человѣческой жизни, судя по началу ея, могла-бы быть смѣлымъ и поучительнымъ раскрытіемъ правды этой жизни, особенно интереснымъ потому, что уже по самой задачѣ она должна бы представить всю эту правду, все содержаніе жизни отъ первыхъ проблесковъ сознанія и до потери его въ наступающемъ безсиліи смерти и вслѣдствіе этого должна-бы полно и законченно выразить воззрѣніе художника на жизнь.

Возвращаясь отъ этихъ несбывшихся возможностей къ дъйствительности, мы прежде всего встръчаемся съ вопросомъ объ основной иде или замыслъ разсматриваемой повъсти. Богатый бытоописательный матеріаль, заключающійся въ ней, а еще бол'ве господствовавшія одно время въ нашей литературъ обличительныя стремленія, заставили нікоторыхъ критиковъ видъть центръ тяжести всей повъсти въ изображеніи пом'вщичьяго быта кр'вностной Россін. Самый выборъ сюжета объяснялся желаніемъ показать тъ условія, подъ вліяніемъ которыхъ неизбъжно приходилось рости и развиваться въ изв'єстный характеръ всякому ребенку привиллегированнаго класса нашего общества. Съ своей стороны мы охотно признаемъ, что всякій желающій дійствительно найдеть въ повъсти графа Толстого много характерныхъ черть изображаемаго времени и извёстной обществен-

ной среды, что многія лица пов'єсти, какъ, напримъръ, отепъ Николая Иртеньева, его бабушка, нъмень-учитель—всёмь извёстный Карль Иванычь. нъсколькими штрихами схваченная Наталья Савишна, Дубковъ, князь Нехлюдовъ, им'єютъ несомнінное значение типовъ, принадлежащихъ опредъленному времени; но, несмотря на это, намъ кажется, что графъ Толстой писалъ свою повъсть, подчиняясь иному творческому мотиву, что передъ нимъ стояла задача показать формирующуюся душу человъка не въ зависимости отъ тъхъ или другихъ общественноисторическихъ условій, но въ зависимости отъ присущихъ ей законовъ развитія; что онъ хотъль прелставить постепенное измёненіе жизни, какъ послёдствіе неизбъжныхъ метаморфовъ души. Какъ реалистъ, онъ воплотилъ свою идею въ формы дъйствительной жизни тогдашней (т. е. до-реформенной) Россін; какъ художникъ, онъ создаль образы, исполненные правды и силы, образы, естественно поднимающіеся до значенія типовъ, -- но все это только необходимый для выраженія идеи матеріаль, только канва, по которой художникъ вышиваетъ узоры внутренней жизни человъка. За такое предположение говорить прежде всего избранная авторомъ форма повъсти. Форма эта, какъ извъстно, автобіографическая. Для объективнаго изображенія быта эта форма самая неудобная, такъ какъ она ставить всегда между изображеніемъ и читателемъ личность разказчика и заставляеть постоянно считаться съ его характеромъ (если только разсказчикъ не безличное

и безхарактерное *я*, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Иртеньева).

Если же хуложникъ на первый планъ выдвигаетъ интересь къ внутренней жизни человъка, если его задача заключается въ изображении того или другого психическаго состоянія, то автобіографическая форма произведенія, напротивъ, является весьма цѣлесообразною, такъ какъ позволяеть весь разсказъ обратить въ характеристику героя-разскащика. П графъ Толстой съ замъчательнымъ искусствомъ воспользовался удобствами избранной имъ формы. Вчитайтесь въ языкъ, вслушайтесь въ тонъ, всмотритесь въ манеру разсказа въ отдельныхъ частяхъ повести, соотвътствующихъ дътству, отрочеству и юности, и вы увидите, что въ первой-разсказъ этотъ дышетъ свъжестью и наивного поэзіего дътскихъ впечатиьній; во второй-вы уже чувствуете цервыя вснышки еще несознанныхъ страстей и понятій, вносящихъ пока только какую-то смутную тревогу въ спокойный дотоль мірь дітской души; въ третьей — вы слышите разсказъ юноши, постоянно увлекающагося какой-нибудь идеею, постоянно стремящагося осуществить въ своемъ лицъ того или другого героя п больше всего боящагося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повъсти подтверждаеть высказанную нами мысль объ ея основной задачь; къ тому-же заключенію приводить и содержаніе ея, значительную долю котораго составляеть никогда непокидаемый графомъ Толстымъ исихологическій анализъ, направленный въ разбираемомъ произведеніи на раскрытіе тёхъ своеобразныхъ и забытыхъ уже нами душевныхъ состояній, которыми мы жили въ лътствъ и юности.

Фабула повъсти проста въ высшей степени. Можно даже сказать, чте она вовсе отсутствуеть, такъ какъ лъйствіе повъсти движется не сцыпленіемъ какихълибо внъшнихъ событій и обстоятельствъ, но естественнымъ процессомъ роста ея героя. Поэтому и мы не будемъ сдъдить за ходомъ ея событій, а обратимся прямо къ тому достоинству, которое имфетъ въ глазахъ автора каждый изъ описанныхъ имъ возрастовъ. — Самымъ гармоническимъ возрастомъ, самою счастливою порою въ изображеніи нашего хуложника является дътство. Въ душъ ребенка не возникъ еще мучительный разладъ внутреннихъ противоръчій, для него не настало еще время неизбъжныхъ сомнёній въ каждой привязанности, въ каждомъ чувствъ; онъ радуется беззаботными и чистыми радостями, онъ любитъ подно и цъльно, онъ жално ловить еще новыя иля него впечативнія жизни. Все интересно для маленькаго Николеньки Иртеньева: и Карлъ Ивановичъ, котораго онъ уже умбеть любить, какъ сироту, какъ одинокаго человъка; и напа, въ которомъ является ему безупречный образъ того, чёмъ долженъ быть мужчина, и о возможности осужденія котораго ему не приходило въ голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша съ своими веригами и молитвами; и охота, и лошади, которыхъ онъ зпаль въ подробности. Но на вершинъ всъхъ воспоминаній дітства, на недосягаемой высоті красоты

и поэзін стоить для него образь матери. Въ образъ этомъ графъ Толстой представилъ ту русскую женшину нашего обезпеченнаго дворянства - чистую. нѣжную, строгую къ самой себъ, безгранично любящую и прощающую, которая какимъ-то чуломъ явилась въ нашей жизни среди господствующей грубости и распущенности и которая въ наше болъе «просвѣщенное» время готова, кажется, отойти въ область преданія. Этотъ образь матери зам'ячателенъ еще и тъмъ, что во всемъ творчествъ графа Толстого это едва-ли не единственная личность съ илеальнымъ характеромъ. Художникъ пощадилъ ее оть раздагающаго действія своего анализа и, создавъ ее нъсколькими легкими штрихами, окружилъ тъмъ поэтическимъ сіяніемъ, которое такъ пдетъ къ воспоминаніямъ сына, еще въ дътствъ потерявшаго свою любимую мать.

Сравнивая свое настоящее съ давно пережитою порою дътства, авторъ иншетъ: «Вернутся-ли когданибудь та свъжесть, беззаботность, потребность любви и сила въры, которыми обладаешь въ дътствъ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двъ лучшія добродътели—невинная веселость и безпредъльная потребность любви — были единственными побужденіями въ жизни? Гдъ тъ горячія молитвы? Гдъ лучшій даръ — тъ чистыя слезы умиленія? Прилеталь ангель-утьшитель, съ улыбкой утираль слезы эти и напъвалъ сладкія грезы неиспорченному дътскому воображенію. Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слъды въ моемъ сердцъ, что навъки отошли

отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?>

Строки эти производять впечатлёніе какой-то сознанной человёкомъ утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло въ дётствё и затёмъ исчезло навсегда, оставивъ въ душё только воспоминаніе о какомъ-то блаженстве, о какомъ-то эдеме, изъ котораго изгнали тебя проснувшіяся страсти да развившійся разумъ.

Этотъ-то процессъ развитія и изображаеть авторъ далъе, описывая отрочество и юность, - изображаетъ съ присущею ему смъжостью и правдою. «Случалосьли вамъ, читатель, въ извъстную пору жизни вдругъ замъчать, что вашь взглядь на вещи совершенно измъняется, какъ-будто всъ предметы, которые вы видъли до тъхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвъстною еще стороной? Такого рода моральная перемъна произошла во мнъ въ первый разъ во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества. Мнъ въ первый разъ пришла мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свътъ, что не всъ интересы вертится около насъ, а что существуеть другая жизнь людей, ничего неимъющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимъющихъ понятія о нашемъ существованіи».

Вскоръ съ душею маленькаго героя произошла еще одна перемъна: онъ началъ постигать какое-то особенное значение женщины. Началомъ этого откровенія послужила слъдующая сцена. Однажды, стоя на лъстницъ, онъ услышалъ голосъ Маши (молодой горничной): «Ну васъ, что вы балуетесь! А какъ Марья Ивановна придетъ—развъ хорошо будетъ?»— Не придетъ, шепотомъ сказалъ голосъ Володи (старшій братъ Николая), и вслъдъ за этимъ что-то зашевелилось, какъ будто Володя хотълъ удержать ее. «Ну, куда руки суете? Безстыдникъ!» И Маша со сдернутой на бокъ косынкой, изъ подъ которой виднълась бълая, полная шея, пробъжала мимо меня.

«Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытіе; однако, чувство изумленія скоро уступило м'єсто сочувствію поступку Володи: меня уже не удивляль самый его поступокь, но то, какимъ образомъ онъ постигь, что пріятно такъ поступать. И мн'ї невольно захотілось подражать ему».

Познакомился нашъ герой и съ чувствомъ ненависти (онъ ненавидътъ своего учителя—Жерома), и съ чувствомъ одиночества. Началась въ немъ и разрушительная работа мысли, словно на зло человъку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболъе дорого. «Я люблю отца, разсказываетъ Иртеньевъ, но умъ человъка живетъ независимо отъ сердца и часто вмъщаетъ въ себя мысли, оскорбляющія чувство, непонятныя и жестокія для него. И такія мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить ихъ, приходятъ мнъ».

Наконецъ, подростающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и онъ сильно увлекался ими. «Дътскій слабый умъ мой со всъмъ жаромъ неопытности старался уяснить тъ вопросы,

предложение которыхъ составляеть высшую ступень. до которой можеть достигать умъ человъка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему». То ему приходила мысль, что счастье наше зависить оть насъ самихъ и что человъкъ, привыкшій переносить страданія, не можеть быть несчастливь:-и воть, чтобы пріучить себя къ этимъ страданіямъ, онъ уходиль въ чуланъ и, какъ маленькій факиръ, стегалъ себя веревкой по голой спинъ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ; то вспоминалось ему. что его ежечасно ожидаеть смерть и что поэтому нелѣпо заботиться о будущемъ, а нужно только поль йоте стоящимъ и онъ поль влінність этой мысли бросилъ уроки и три дня «занимался только тёмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ъдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые покупалъ на послъднія деньги»; то увлекался онъ скептицизмомъ и думалъ. что кромъ него никого и ничего не существуеть во всемъ міръ. «Были минуты, что я, пишетъ онъ, подъ вліяніемъ этой постоянной идеи, доходиль до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надъясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдв меня не было».

Для насъ здёсь интереснёе всего тоть общій выводь, который дёлаеть авторь о значеніи ума вывопросё человёческаго счастья. «Жалкая ничтожная, пружина моральной дёятельности, — умъ человёка!» читаемъ мы. «Слабый умъ мой не могъ проникнуть

непроницаемаго, а въ непосильномъ трудъ терялъ одно за другимъ убъжденія, которыя, для счастья моей жизни, я никогда-бы не долженъ былъ смѣть затрогивать. Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромъ изворотливости ума, ослабившей во мнъ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка».

И такъ-вотъ жребій человѣка! Выше и выше поднимаясь по ступенямъ духовнаго развитія, полнъе и полнъе освобождая свое сознание отъ господства страстей и привычекъ, человъкъ въ то-же время дальше и дальше отходить отъ своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо завътная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человъка не знаетъ для себя преградъ, все дълаетъ предметомъ своего анализа, въ силу природы вещей всюду находить пятна и тёни, въ самой прекрасной дъйствительности видитъ лишь слабое подобіе идеальнаго и, облетая жизнь человъка, отнимаеть у него одно за другимъ условія его счастья. Мысль эта, впрочемъ, не новая: еще Шекспиръ подмътилъ этотъ фатумъ, тяготъющій надъ человъческимъ духомъ, п далъ ему въчное выражение въ Гамлетъ. Характерно только, что и графъ Толстой находить нужнымъ высказать эту-же мысль.

Юность, по словамъ графа Толстого, начинается съ того времеми, когда благородныя мысли и стремленія къ нравственному усовершенствованію, нравив-

шіяся прежде только уму, становятся доступными и чувству и находять для себя живой органь въ сложившейся уже моральной природъ недавняго ребенка. Сущность новаго настроенія нашего героя всего лучше выражается въ служичениемъ искреннемъ и сильномъ порывъ: «Какъ могъ я не понимать этого (что красота, счастье и добродътель легки и возможны для него), какъ дуренъ я быль прежле, какъ я могъбы и могу быть хорошь и счастливь въ булушемъ!» говориль онь самь себъ: -- «нало скоръй, скоръй, сію же минуту сдёлаться другимъ человёкомъ и начать жить иначе». Всякій, у кого была юность не съ однимъ только разгуломъ физическихъ силъ, но и съ нравственнымъ содержаніемъ, вспомнить, что именно эти слова говориль онь себъ, что эти-же образы красоты, счастья и добродътели манили его въ булушее и что внё ихъ онъ не понималь и не хотёль жизни, Но мы живемъ... А кто изъ насъ осуществиль въ своей жизни эту красоту и счастье? Есть-ли межлу нами даже такіе, у кого-бы сохранилась вёра въ эти лучезарные идеалы, у кого-бы потребность красоты не смънилась стремленіемъ къ комфорту, жажда счастья — исканіемъ пріятныхъ ошушеній, желаніе добродътели — необходимостью всепризнанной морали?.. Какъ-же свершается это паденіе жизни — не внъшней жизни, которая всегда одинакова, а нашего внутренняго міра, нашей души?—Обратимся къ повъсти и посмортимъ, что вышло изъ стремленія юноши Иртеньева «сдёлаться другимъ человёкомъ».

Стремленіе это выливается у Иртеньева въ пъ-

ломь рядь мечтаній. Такъ, передъ исповытью онъ мечталъ, что очистится отъ всёхъ грёховъ и больше не будеть совершать поступковь, которые его теперь мучать; мечталь о томь, что кажное воскресенье будеть ходить въ перковь, что изъ своихъ денегь будеть помогать бёднымъ, что самъ будеть прибирать свою комнату, чтобы не затруднять челов'іка: мечталь онь и о томь, какь сделается первымь ученымъ въ Европъ; мечталъ о томъ, какъ будетъ ходить гулять на Воробьевы горы и встретить тамъ ее. О ней, о воображаемой женщинъ (которая была для него немножко Соничка, немножко Маша, жена лакея, въ то время, когда она моеть бълье въ корытъ. и немножко женщина съ жемчугами на бълой шев, которую онъ видёлъ въ театръ), мечтаетъ онъ очень много; мечтаетъ онъ и о славъ, о томъ, какъ люли будуть знать и любить его, — и Богь только знаеть. о чемъ онъ не мечталъ тогда. Мечтанія эти не остаются безъ вліянія на его жизнь: такъ, вспомнивъ «ОДИНЪ СТЫДНЫЙ ГРЪХЪ», КОТОРЫЙ ОНЪ УТАИЛЪ НА исповёди, онъ рёшается ёхать въ монастырь и исповъдаться вторично. Эпизодъ этой поъздки въ художественномъ отноженіи истинный шелевръ: графъ Толстой передаеть его съ легкимъ оттънкомъ юмора, не мъщающимъ ему отмътить и искреннее умиленіе юноши въ моментъ исповъди, и въ то-же время позволяющимъ указать и то тщеславное чувство, которое заставляеть молодого ревнителя своей нравственной чистоты разсказать извощику о цёли своей поъздки въ монастырь.

Сдавъ послъдній экзамень въ университеть, герой нашь, чтобы походить на большого, ъдеть по магазинамь и тратить всё свои деньги на покупку совершенно ненужныхъ ему вещей; покупаеть онъ также себъ и табаку, такъ какъ ему, какъ студенту, нужно курить. Прітхавъ домой, онъ пробуеть курить, но съ непривычки у него закружилась голова, ему сдълалось тошно и онъ, лежа на дивант, грустно думаль съ разочарованіемъ: «втрно я еще не совстви большой, если не могу курить, какъ другіе, и что видно мит не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы».

Дальше авторъ разсказываеть намь, какъ стремящійся къ красоть и правдь юноша выдумаль себь любовь. «Мнь давно уже было совъстно, глядя на всъхъ своихъ влюбленныхъ пріятелей, за то, что я отсталь оть нихъ», говорить откровенный и правдивый разскащикъ. И вотъ, увидъвшись съ одною барышней, Соничкой, которую онъ зналъ еще въ дътствъ, онъ ръшилъ въ тотъ-же мигъ, что влюбленъ въ нее. Объ этомъ чувствъ онъ разсказалъ своему другу Дмитрію Нехлюдову; по пріъздъ-же въ деревню, на каникулы, онъ, подражая влюбленнымъ, цълые два дня ходилъ передъ своими домашними грустнымъ и задумчивымъ; на третій день однако притворства уже не хватило и онъ совсъмъ забылъ о своей любви.

Затъмъ графъ Толстой раскрываетъ въ своемъ героъ столь свойственное юнощамъ тщеславное же-

ланіе выказать себя другимь человькомь, чымь есть, желаніе, заводившее студента Иртеньева въ дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которыхъ онъ вовсе не сочувствоваль, или напускать на себя несвойственныя и чуждыя ему настроенія.

Но показывая всю ложь и фальшь, которыми полна дъйствительность юности, графъ Толстой не забываеть и того прекраснаго, что живеть въ мечтахъ, порывахъ и стремленіяхъ этого возраста. Стоитъ прочесть, напримъръ, слъдующій исполненный поэтической прелести, отрывокъ, изображающій юношескія грезы, навъянныя картиною ясной льтней ночи: «Все (въ этой картинъ) получало для меня странный смысль-смысль слишкомь большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья. И воть являлась она, съ длинною, черною косой, высокою грудью всегда печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятіями. Она любила меня, я жертвоваль иля одной минуты ел любви всею жизнью. Но луна все выше и выше, свътлъе и свътлъе стояла на небъ, пышный блескъ пруда, равномърно усиливающійся, какъ звукъ, становился яснье и яснье, тыни становились черные и черные, свыть прозрачнъе и прозрачнъе, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мнв, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь къ ней далеко-далеко еще не все благо; и чёмъ больше я смотрёль на высокій, полный мёсяць, тёмь истинная красота и благо казались мнѣ выше и выше, чище и чище, ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего прекраснаго и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мнѣ на глаза».

Итакъ, вступая черезъ отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый міръ дѣтства, въ юность, человѣкъ встрѣчаетъ въ ней много прекрасныхъ надеждъ, чувствуетъ въ себѣ много силъ и стремленій, которыя должны-бы датъ ему полное и высокое счастіе; но едва онъ начинаетъ жить, тратить этотъ многообѣщающій запасъ силъ, какъ жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великія ожиданія отъ нея. Сбываются-ли эти ожиданія въ позднѣйшіе періоды человѣческой жизни, объ этомъ не говоритъ разсматриваемая повѣсть, опускающая передъ нами занавѣсъ раньше даже, чѣмъ оканчивается юность; но объ этомъ говорять другія произведенія художника-Толстого, къ которымъ мы теперь и обратимся.

## TV.

## Повъсти и разсказы.

Періодъ писательской д'ятельности графа Л. Н. Толстого отъ 1852 до 1861 года можетъ быть названъ періодомъ разсказовъ и пов'єстей. Кром'є большой пов'єсти—«Д'єтство, отрочесство и юность»,— о которой мы уже говорили, въ это-же время нашимъ художникомъ было написано много другихъ пов'єстей и разсказовъ и только одинъ романъ («Семейное счастье»), да и то небольшой по объему и до исключительности простой по фабул'є. Въ это время талантъ графа Толстого какъ-бы испытывалъ свои силы и на разработк'є некрупныхъ художественныхъ темъ какъ-бы подготовлялся къ тымъ великимъ созданіямъ, появленіемъ которыхъ отміченъ послівдующій періодъ его литературной д'єятельности.

Но, несомивно уступая большимъ романамъ нашего художника и широтою захвата, и глубиною творческаго замысла, его повъсти и разсказы представляются тъмъ не менъе мастерскими произведеніями, всегда содержательными, всегда оригинальными по идев, а иногда и положительно чудесными по той мъткости слова и силъ художественнаго образа, которыя какъ-бы дъйствительно творять кругомъ васъ изображаемую жизнь, заставляють ее чувствовать, осязать ея формы, видъть ея краски, слышать ея звуки... Содержание этихъ повъстей и разсказовъ чрезвычайно разнообразно. Часть изъ нихъ посвящена изображению войны и основою своею привязана къ историческимъ событиямъ—осадъ Севастополя и кавказскимъ походамъ. Другие говорятъ о культурномъ человъкъ, третьи воспроизводятъ народную жизнь. Есть даже разсказы изъ жизни животныхъ и природы.

Оставимъ пока въ сторонѣ войну и посмотримъ на мирную жизнь человѣка въ изображеніи ея графомъ Толстымъ.

Повъсть «Утро помъщика» есть, какъ извъстно, отрывокъ изъ неоконченнаго романа «Русскій помъщикъ». Это названіе несозданнаго романа въ связи съ содержаніемъ существующаго отрывка даетъ поводъ предполагать, что авторъ имълъ въ виду представить одинъ изъ типовъ русскаго дворянства, именно—тотъ типъ мягкаго, искренно доброжелательнаго, благороднаго, но отвлеченнаго и непрактичнаго мечтателя, который образовался въ нашей помъщичьей средъ подъ вліяніемъ гуманитарнаго идеализма сороковыхъ годовъ. Князь Нехлюдовъ, еще девятнадцатилътній юноша, бросаетъ университетъ и поселяется въ деревнъ ради своей «священной и прямой обязанности заботиться о счастіи семисотъ

человъкъ» своихъ крестьянъ, которыхъ, по его мнънію, гръшно «покидать на произволь грубыхъ старость и управляющихъ изъ-за плановъ наслажленія или честолюбія». Кажлое воскресное утро, согласно установленному распредёленію времени, молодой помъщикъ обходилъ своихъ бъдныхъ крестьянъ съ цълью ознакомиться съ ихъ нуждами и оказать имъ возможную помощь. Пользуясь одною изъ такихъ филантропическихъ прогулокъ князя Нехлюдова, авторъ заглядываеть въ нъсколько крестьянскихъ дворовъ и описываеть эти удивительныя человъческія жилища и ихъ своеобразныхъ обитателей. Въ описаніяхъ этихъ, не смотря на ихъ краткость, онъ успъваеть создать нъсколько типовъ русскаго мужика. И хотя эти типы образованы изъ черть, схваченныхъ первымъ впечатленіемъ, подмеченныхъ въ нъсколько минутъ наблюденія, хотя они созданы всего нъсколькими штрихами, тъмъ не менъе они отличаются зам'вчательною художественною опредівленностью и правдоподобіемъ. Это живыя лица, каждый съ своимъ характеромъ, съ своей индивидуальной физіономіей, и въ то-же время во всёхъ ихъ вы чувствуете знакомую стихію народнаго духа, связывающую ихъ съ русскою землею, съ русскимъ бытомъ, съ русскою исторіею.

Здъсь кстати замътить, что народные типы графа Толстого до сихъ поръ остаются недостижимыми образцами для нашихъ художниковъ. Несмотря на то, что беллетристика послъдняго времени весьма часто бралась за сюжеты изънародной жизни, ей ни разу не

удалось подняться до той художественной правды, которою проникнуты творенія Толстого. Идеализація народа съ одной стороны и стремленіе изображаєть его жизнь въ видѣ сплошной каторги съ другой—стояли и до сихъ поръ стоять непреодолимыми препятствіями на пути къ этой правдѣ. Мы не говоримъ здѣсь, конечно, о Тургеневѣ: его «Записки охотника» явились раньше произведеній Толстого.

Не народная жизнь, однако, составляеть главный интересъ разсматриваемой повъсти. Въ ней развитъ другой мотивъ, въ ней раскрывается природа филантропическихъ стремленій человіка. И въ наше холодное, эгоистическое время найдется немало людей. върующихъ въ существование въ лушъ человъка самостоятельных желаній добра и счастья обществу или человъчеству, въ способность его жить этими желаніями и трудиться ради нихъ; въ пятидесятые-жә годы, въ эту эпоху возрожденія у насъ общественныхъ идеаловъ, подобное върование было господствующимъ и возводилось едва-ли не въ обязанность всякаго образованнаго и честнаго человъка. Но нашъ художникъ не поддался этому всеобщему увлеченію и съ цёлью доискаться правды, направиль свой анализъ на тъ психические мотивы, которыми обусловливается общественная діятельность. Онъ не отрицаль существованія такихъ мотивовь, онъ только сомнъвался въ ихъ исключительной природъ, въ томъ характеръ самостоятельности, который имъ приписывали.

Герой повъсти, князь Нехлюдовъ, върить въ

любовь-самоотвержение, вёрить въ счастье жизни. отланной на пользу другихъ дюлей. Какъ мы уже сказали, онъ бросаетъ столицу, привычное общество, университеть, прежніе планы и блеть въ деревию устраивать своихъ крестьянъ. Казалось-бы, при такихъ намъреніяхъ благо каждаго крестьянина должно стать его естественною цълью; казалось-бы, отъ живой личности кажлаго изъ нихъ онъ и долженъ-бы отправляться въ своихъ заботахъ и въ своей деятельности: казалось-бы, любовь, да разв'в еще сожальніе, могли быть единственными чувствами его къ этимъ людямъ. Но повъсть деревенской жизни киязя говорить пругое. Встративъ во время своего обхода болъзненнаго, апатичнаго, лъниваго и бъднаго мужика (Давыяку-Бълаго), князь не чувствуеть къ нему ни любви, ни состраданія; съ нимъ происходить нічто другое: «Что мнъ дълать съ нимъ? Оставить его въ этомъ положеній невозможно и для себя, и для примъра другимъ, и для него самого невозможно. Я не могу видъть его въ этомъ положении, а чъмъ вывести его? Онъ уничтожаетъ всё мои лучшіе планы въ хозяйствъ. Если останутся такіе мужики, мечты мон никогда не сбудутся, -- подумалъ опъ, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его плановъ. Сослать на поселеніе, какъ говорить Яковъ (прикащикъ), коли онъ самъ не хочетъ, чтобъ ему было хорошо, или въ солдаты? Точно: по крайней мъръ и отъ него избавлюсь, и еще замёню хорошаго мужика».

Мечты-вотъ главное! Если тотъ, кого мы хотимъ

осчастивить, разрушаеть эти мечты, мы испытываемъ противъ него злобу и вмъсто счастья готовы наградить его ссыдкой или отлачей въ солдаты... Значеніе этой мечты авторъ дорисовываеть другою сценою. Придя на пчельникъ богатаго крестьянина Путлова, Нехлюдовъ подъ вліяніемъ пахнувшаго на него мира, довольства и добродущія забыль тяжелыя впечативнія утра. «и его любимая мечта живо представилась ему. Онъ видълъ уже всъхъ своихъ крестьянъ такими-же богатыми, побродушными, какъ старикъ Дутловъ, и всъ ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своимъ богатствомъ и счастьемъ». Такъ вотъ пружина филантропической дъятельности! Осчастливьте люжей помимо насъ, и мы не будемъ радоваться. Пусть даже мы дадимъ имъ это счастье, но они не булутъ этого знать, не будуть ласково и радостно намъ улыбаться, — и мы не почувствуемъ себя удовлетворенными; предвидя такой исходъ нашихъ трудовъ и стараній. мы, быть можеть, и не захотели-бы добывать это счастье для людей. Повёсть оканчивается сопоставленіемъ мечты, завлекшей князя Нехлюлова въ леревню, убъжденій его, что самоотверженная любовь есть единственное истинное счастье, съ тъмъ разочарованіемъ, къ которому онъ пришель черезъ голь и пришель потому, что не нашель счастья, хотя страстно желаль его. Отчего-же наступило это разочапованіе? Отчего Нехлюдовъ не могъ быть счастливъ? Оттого, говоритъ намъ повъсть, что онъ только мечталь о красоть и счасть самоотверженной любви, но въ дъйствительности не любиль этого Чуриса, Юхванку-Мудренаго, Давыдку-Вълаго, всъхъ этихъ живыхъ людей, ради которыхъ онъ, будто-бы, прі-техаль въ деревню. Онъ любиль только свою мечту, свою надуманную роль благотворителя, и нотому, когда дъйствительность оказалась не въ ладу съ его мечтою, когда отъ ея суроваго прикосновенія развъялись прекрасныя юношескія грезы, онъ почувствоваль себя несчастнымъ.

Маленькая повъсть «Записки маркера» останавливаетъ на себъ внимание прежде всего оригинальностью формы. Это безъискусственный, простой разсказъ маркера объ одномъ изъ постоянныхъ посътителей билліардной. Но въ этомъ разсказ в-пълая исторія паденія жизни, цёлая драма, разрёшающаяся самоубійствомъ. Драма эта чисто внутренняя: разсказъ-же касается только тёхъ внёшнихъ проявленій жизни, которыя могь видіть маркерь въ ресторанъ и которыя были доступны его понимаманію. Въ сопоставленіи этого внутренняго сюжета съ внъшними пріемами описанія и заключается оригинальность пов'єсти. Въ конців концовъ оказалось, однако, что слова маркера безсильны передать внутреннюю жизнь кончившаго самоубійствомъ князя Нехлюдова. Потребовалась записка самоубіны. Содержаніе этой записки весьма характерно. Воть что пишетъ Нехлюдовъ:

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человъкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотълъ наслаждаться и затопталъ въ грязь все,

что было во мнѣ хорошаго. Я не обезчещенъ, не несчастенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но я сдѣлалъ хуже: я убилъ свои чувства, свой умъ, свою молодость. Я опутанъ грязною сѣтью, изъ которой могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрестанно падаю, падаю, чувствую свое паденіе и не могу остановиться...

«И что погубило меня? Была-ли во мнѣ какаянибудь сильная страсть, которая бы извинила меня? Нѣтъ.

«Хороши мои воспоминанія! Одна ужасная минута забвенія, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидёль, какая неизмёримая пропасть отдёляла меня отътого, чёмъ я хотёлъ и могъ быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдё тё свётлыя мысли о жизни, о вёчности, о Боге, которыя съ такою ясностью и силою наполняли мою душу? Гдё безпредметная сила любви, отрадною теплотой согрёвавшая мое сердце? Гдё надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славё? Гдё понятіе обязанности?»

«А какъ бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, если бы шелъ по той дорогъ, которую, вступая въ жизнь, открылъ мой свъжій умъ и дътское, истинное чувство! Не разъ пробовалъ я выйти изъ колеи, по которой шла моя жизнь на эту свътлую дорогу. Я говорилъ себъ: употреблю все, что есть у меня воли, и не могъ. Когда я оставался одинъ, мнъ станови-

лось неловко и страшно съ самимъ собой. Когда я былъ съ другими, я забывалъ невольно свои убъжденія, не слыхалъ болъ внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ я дошелъ до страшнаго убъжденія, что не могу подняться, пересталь думать объ этомъ п хотъль забыться; но безнадежное раскаяніе еще сильнъе тревожило меня. Тогда мнъ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствъ...

«Я думалъ прежде, что близость смерти возвысить мою душу. Я ошибался. Черезъ четверть часа меня не будеть, а взглядъ мой нисколько не измѣнился. Я также вижу, также слышу, также думаю; та же странная непослъдовательность, шаткость и легкость въ мысляхъ.

«Непостижимое созданіе человъкъ!»

Какъ видимъ, этимъ маленькимъ разсказомъ затронута весьма интересная и серьезная тема. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, одаренный всѣми благами судьбы, вмѣсто счастья, носить въ душѣ неотступную муку, вмѣсто жизни избираетъ добровольную смерть?— Къ сожалѣню, мы не находимъ въ настоящемъ разсказѣ той глубокой, художественной разработки взятой темы, на которую способенъ графъ Толстой. Онъ даетъ здѣсь только нѣсколько намековъ для разрѣшенія поставленнаго вопроса. Не сильная страсть, не преступленіе, не безчестный поступокъ погубили Нехлюдова,—нѣтъ: онъ погибъ отъ безсилія осуществить свѣтлыя мечты и благородныя думы своей молодости, онъ погибъ оттого, что душа его сохранила

еще сознаніе высокихъ и чистыхъ стремленій, въ то время, какъ жизнь его упада въ грязь пошлости. ничтожества, презрънныхъ интересовъ и жалкихъ тревогъ. Кругомъ него живутъ люди тою-же жизнью. но они не чувствують возможности иного, высокаго и прекраснаго счастья для человъка и они спокойны. Есть въ жизни и другіе характеры, есть сильные. неутомимые бойцы за свои идеалы, способные на подвигь и жертву. Но князь Нехлюдовъ не изъ ихъ числа: нося въ душъ своей чистый идеалъ жизни, онъ лишенъ воли, необходимой для его осуществленія. Изъ этого внутренняго противорбијя и развивается та драма, которую показаль намь графъ Толстой. Прама эта не есть какое-либо исключительное явленіе. обусловленное особенностями той или другой эпохи: она постоянно повторяется и въ наше время и будетъ повторяться до тъхъ поръ, пока будуть существовать высокіе порывы рядомъ съ безсильными характерами.

Небольшой разсказъ «Люцернъ» принадлежитъ къ наименъе художественнымъ произведеніямъ графа Толстого. Въ сущности это довольно отвлеченное разсужденіе, пріуроченное къ одному факту заграничной жизни, поразившему князя Нехлюдова (настоящій разсказъ есть какъ-бы отрывокъ изъ записокъ князя Нехлюдова). Фактъ этотъ состоялъ въ томъ, что богатые обитатели великолѣпной люцернской гостинницы Швейцергофа не дали ничего бѣдному странствующему пѣвцу, который втеченіе получаса забавляль ихъ своимъ пѣніемь и игрою на гитаръ.

Но если разсказъ этотъ не представляетъ ничего особеннаго въ художественномъ отношении, зато въ немъ совержатся илеи, чрезвычайно характерныя для міровоззрѣнія графа Толстого. Упомянутое событіе передъ люцернской гостинницей кажется князю Нехлюлову совершенно новымъ, страннымъ и относящимся не къ въчнымъ лурнымъ сторонамъ человъческой природы, но къ извъстной эпохъ развитія общества. «Это факть пе для исторіи діяній людскихь, но для исторін прогресса и пивилизацін. Отчего этотъ безчеловъчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнъ нъмецкой, французской или итальянской, возможенъ здёсь, гдё цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдф собираются путеществующіе самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное, гуманное дъло, не имъють человъческого сердечного чувства на личное доброе дъло! Отчего эти люди, въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горячо заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индін, о распространенін христіанства и образованія въ Африкъ, о составлени общества исправления всего человъчества, не находять въ душъ своей простого первобытнаго чувства человъка къ человъку? Неужели нътъ этого чувства, и мъсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называють цивилизаціей, уничтожаеть и противоръчить потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій?».

Здёсь подвергается сомнёнію благо цивилизаціи. Въ исторіи мысли это, правда, пе первое сомнініе въ цивилизаціи. Не съ графа Толстого, конечно, начинается отрицательное къ ней отношение. Но отношеніе это прекрасно оттъняеть скептицизмъ графа. Разсматривая цивилизацію, которою такъ горда современная Европа и содъйствіе которой считается высшею заслугой каждаго человъка, графъ Толстой старается пошатнуть этотъ новый кумиръ, старается показать то зло, которое несеть съ собою эта прославленная цивилизація. И его нападки на нее отличаются мъткостью и силою, хотя въ то-же время онъ и односторонни: въ цивилизаціи не одно только зло. Выростающее съ нею вмѣстѣ новое зло есть часто только необходимый спутникъ новаго блага, которое въ свою очередь неръдко бываеть непримиримымъ врагомъ блага стараго, и если цивилизація д'виствительно не можетъ совмъстить въ одномъ моментъ все то добро и благо, которыми пользовалось человъчество въ различныя времена своей многовъковой исторін и которыя можно вложить въ непом'требовательный идеальный критерій, то въ ней, какъ и во всякомъ другомъ состояніи человъческихъ общежитій, есть свое благо, свои преимущества, свои источники наслажденій. И безпристрастный взглядъ не можетъ этого не замътить.

«Альбертъ»—маленькое, но художественное произведеніе, рисующее странную смѣсь душевной приниженности, убожества и величія въ лицѣ бѣднаго, спившагося, но талантливаго и восторженнаго впртуоза музыканта.

«Два гусара»—повъсть съ преобладающимъ бытовымъ интересомъ. Это своего рода «Два покольнія», или «Отцы и дъти». Только, изображая свои два покольнія, графъ Толстой имьсть въ виду не иден или общественныя аспираціи, а просто характеры. Представитель отцовъ — графъ Өедоръ Турбинъ принадлежить первому покольнію начала нынжшилго столътія; сынъ его живеть двадцатью годами позднье. Сопоставляя характеры этихъ двухъ гусаръ, авторъ вызываеть на сравнение и оценку ихъ, и вы чувствуете, какъ симпатія ваша невольна склоняется въ сторону Турбина-отца, несмотря на то, что даже и не особенно строгая мораль нашла бы въ немъ не мало пороковъ. Графъ Өедоръ Турбинъ-своеобразное и удивительное произведение своего времени, того времени, «когда не было еще ни желѣзныхъ, ни шоссей» ныхъ дорогъ, ни газоваго, ни стеариноваго свъта, ни пружинныхъ, низкихъ дивановъ, ни мебели безъ лаку, ни разочарованныхъ юношей со стеклышками, ни милыхь дамъ-камелій, которыхъ такъ много развелось въ наше время, -- того наивнаго времени, когда изъ Москвы, вывзжая въ Петербургъ, въ повозкъ или въ каретъ, брали съ собой цълую кухню домашняго приготовленія, тали восемь сутокъ по мягкой, ныльной или грязной дорогъ и върили въ пожарскія котлеты,

въ валдайские колокольчики и бублики, — когда въ длинные осение вечера нагарали сальныя свъчи, освъщая семейные кружки изъ двадцати и тридцати человъкъ, на балахъ въ канделябры вставлялись восковыя и спермацетовыя свъчи, когда мебсль ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не однимъ отсутствиемъ морщинъ и съдыхъ волосъ, а стрълялись за женщинъ и съ другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и ненечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькія таліи и огромные рукава и ръшали семейныя дъла выниманіемъ билетиковъ; когда прелестныя дамыкамеліи прятались отъ дневного свъта, — наивнаго времени массонскихъ ложъ, мартинистовъ, тугендбунда, времени Милорадовичей, Давыдовыхъ, Пушкиныхъ»...

Графъ Өедоръ Турбинъ, случается, до крови разбиваетъ физіономію своему лакею, травитъ станціоннаго смотрителя собакой, бьетъ шулера и беретъ выигранныя имъ деньги, но беретъ не для себя: часть ихъ онъ отдаетъ проигравшему казенныя суммы молоденькому корнету, другую бросаетъ поющему хору цытанъ. Увлекшись на балу хорошенькою вдовою, онъ добивается отъ нея разръшенія на поцълуй и, чтобы получить объщанное, бъжитъ прямо изъ зала, въ одномъ мундиръ, къ подъвзду, забирается въ карету своей дамы, ждетъ ее и затъмъ вмъстъ съ нею ъдетъ въ ея домъ. Онъ часто забываетъ отдавать свои долги; наконецъ онъ умираетъ на дуэли съ какимъ-то иностранцемъ, котораго онъ высъкъ арапникомъ. Но во всъхъ его дъйствіяхъ или, если хотите, во всъхъ этихъ

безобразіяхь столько смёлой, искренней и безкорыстной жажды жизни, все это совершается у него такъ наивно, такъ естественно вытекаетъ изъ избытка мололой, рвушейся на просторъ силы, что какое-то внутреннее чувство противъ ващей воли делаетъ его недоступнымъ для осужденій обычной морали и полнимаеть его гораздо выше его аккуратнаго, сдержаннаго и разсчетливаго сына, преданнаго заботамъ о своей карьеръ, старающагося каждый день за чаемъ пить ромъ своего пріятеля, способнаго хланнокровно обыграть добрую старушку на ужасную для нея сумму въ преферансь съ мизерами, въ которыхъ она ничего не понимаеть, трусливо и пошло залумавшаго воспользоваться невинностью деревенской барышни и прилично уклонившагося отъ дуэли со своимъ сослуживцемъ, Полозовымъ, назвавшимъ его подлецомъ за эти нечистые замыслы. Не польстилъ авторъ «отцамъ», но по сердцу, по натурѣ человѣка ихъ время преиставляется намъ все-же лучнимъ. чёмь болёе цивилизованное время «дётей». Съ этой точки зрвнія и въ настоящей пов'єсти можно полмътить тотъ-же мотивъ, что и въ «Люцернъ».

Разсказъ «Три смерти» относится въ разряду тъхъ художественныхъ параллелей, о которыхъ мы говорили выше. Въ немъ описаны три случая смерти: въ богатомъ, аристократическомъ домъ, въ Москвъ, умираетъ дама, въ бъдной крестьянской избъ умираетъ извощикъ и... въ лъсу умираетъ дерево. Зачъмъ понадобилась автору эта параллель? Что общаго можетъ быть въ смерти человъка и въ смерти дерева?

Ужь не фальшива-ли основная тема разсказа? Такіе вопросы приходять вамь въ голову, когда отлълавшись отъ обаянія художественнаго впечатлінія, вы начинаете вдумываться въ эту оригинальную концепцію. Скоро, однако, недоумѣнія ваши разсѣиваются и передъ вами открывается идея, требующая полобнаго сопоставленія. Смерть — роковой и неизбъжный законъ всего живого. Помимо воли и сознанія родится и возникаеть все живое, помимо воли и сознанія умираеть, уступая свое м'єсто новой жизни. Фатально, просто и гармонически совершается это обновленіе жизни во всей природ'є; одинъ только человъкъ вносить въ эту гармонію диссонансь своимъ безсильнымъ, жалкимъ протестомъ, своимъ безпомощнымъ и какъ-бы умышленнымъ отчаяніемъ передъ неизбъжностью смерти. Впрочемъ, и изъ людей далеко не всв поддаются этому отчаянію. Простые люди умирають просто и спокойно: только развитіе, только освободившіяся отъ фактовъ мысль и воображеніе, способныя въ одномъ моментъ представить человъку всю красоту и прелесть уходящей жизни, только они приводять его къ ужасу и къ безобразной судорогъ безсмысленнаго сопротивленія.

Мучительно и непокорно умираетъ женщина изъ образованнаго общества. «Она знакомъ подозвала къ себъ мужа.

- «Ты никогда не хочешь сдёлать, что я прошу, сказала она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.
  - «Что, мой другъ?
  - -- «Сколько разъ я говорила, что эти доктора

ничего не знають: есть простыя лекарки, онъ вылечивають... Воть батюшка говориль... мъщанинъ...
Пошли...

- «За къмъ, мой другь?
- «Боже мой, ничего не хочетъ понимать!.. II больная сморщилась и закрыла глаза.

«Докторъ, подойдя къ ней, взялъ ея руку. Пульсъ замѣтно бился слабъе и слабъе. Онъ мигнулъ мужу. Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

- «Не плачь, не мучь себя и меня, говорила больная,—это отнимаеть у меня послёднее спокойствіе.
  - «Ты ангелъ! сказала кузина, цълуя ея руку.
- «Нътъ, сюда поцълуй; только мертвыхъ цълують въ руку. Боже мой! Боже мой!

«Въ тотъ-же вечеръ больная уже была тёло»...

Иначе умираетъ въ ямской избъ извощикъ Өедоръ. «Передъ ночью кухарка влъзла на печь и черезъ его (больного) ноги достала тулупъ.

- «Ты на меня не серчай, Настасья проговориль больной,—скоро опростаю уголь-то твой.
- «Ладно, ладно... чтожъ, ничего, пробормотала Настасья.—Да что у тебя болитъ-то, дядя? Ты скажи.
  - «Все нутро изныло. Богъ его знаетъ что.
  - «Небось и глотка болить, какъ кашляешь?
- «Вездѣ больно. Смерть моя пришла—вотъ что. Охъ-охъ-охъ! простоналъ больной.
- «Ты ноги-то укрой, воть такъ, сказала Настасья, по дорогъ натягивая на него армякъ и слъзая съ печи.

«Ночью въ избѣ слабо свѣтилъ ночникъ. Настасья и человѣкъ десять ямщиковъ съ громкимъ храпомъ спали на полу и по лавкамъ. Одинъ больной слабо кряхтѣлъ, кашлялъ и ворочался на печи. Къ утру онъ затихъ совершенно».

Но какъ ни проста и трогательна эта смерть. однако и она не можеть сравняться съ тою красотою смерти, съ какою умираетъ дерево. Вотъ какъ описываеть авторь эту замёчательно граніозную смерть: «Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочныя бълыя щенки летъли на росистую траву, и легкій трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всёмъ тёломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корнъ. На мгновенье все затихло; но снова погнулось дерево. послышался трескъ въ его стволъ и, ломая сучья и опустивъ вътви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки тонора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вътка, которую она зацёнила своими крыльями, покачалась нёсколько времени и замерла, какъ и другія, со всёми своими листьями. Деревья еще радостиве красовались на новомъ просторъ своими неподвижными вътвями».

Небольшой разсказецъ «Метель» описываетъ всего только перевздъ въ степи, съ одной станціи на другую, зимнею ночью, во время метели. Но этотъ простой разсказъ есть положительно перлъ въ художественномъ отношеніи. Разсказывать его содержаніе не стоитъ, передать его красоты невозможно, — его можно только читать да наслаждаться выростающими

изъ строкъ картинами и образами, да удивляться той силъ и художественной выразительности словадо которой довель его графъ Толстой.

«Холстомъръ» — новинка для русской публики. Этотъ своеобразный разсказъ впервые появился въ послъднемъ изданіи сочиненій графа Толстого, хотя написанъ быль еще въ 1861 году. Задуманъ этотъ разсказъ чрезвычайно оригинально: это — исторія лошади, исторія пъгаго мерина Холстомъра, имъ самимъ разсказанная другимъ лошадямъ. «Посерединъ освъщеннаго луной двора», такъ описываетъ авторъ обстановку этого разсказа, «стояла высокая, худая фигура мерина съ высокимъ съдломъ, съ торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и въ глубокомъ молчаніи стояли вокругъ него, какъ-будто онъ чтото новое, необыкновенное узпали отъ него. И точно новое и неожиданное они узнали отъ него». Иять ночей разсказывалъ имъ меринъ свою исторію...

Благодаря этому оригинальному пріему творчества, все произведеніе получаеть нісколько фантастическій колорить и по духу своему напоминаеть народныя, въ особенности восточныя сказанія. Но фантастичность эта нимало не мізнаеть смізлому реализму произведенія. Въ немъ изображается наша земная человіческая жизнь, съ ея дійствительным в содержаніемь, изображается съ правдою замічательною, только преломляется эта жизнь не въ глазу человіка, а въ глазахъ другого существа — лошади. Авторъ смотрить на жизнь не съ точки зрівнія привычныхъ понятій, традиціонныхъ условностей и фиквычныхъ понятій.

цій человъка: онъ ищеть свободнаго, безпристрастнаго воззрѣнія на жизнь и приписываеть его герою своего разсказа—старому мерину. Какт дымъ разсѣивается въ этомъ воззрѣніи самомнительная иллюзія человъка объ его исключительномъ достоинствѣ и призваніи и онъ является намъ только «бѣднымъ двуногимъ животнымъ», только особою зоологическою породою на землѣ. Эта мысль объ убожествѣ и животненности человѣка до такой степени правдиво и послѣдовательно проведена черезъ весь разсказъ, что впечатлѣніе изъ него выносишь самое безотрадное и тяжелое.

Не весь разсказъ представляеть собою исторію лошали, не весь и передается лошадью. Нъсколько страницъ его посвящены жизни бывшаго хозяина этой лощади-князя Серпуховскаго. Но эта вторая исторія не механически только присоединена къ первой: она слита съ нею единствомъ художественной конпенніи и единствомъ пессимистическаго тона: только изъ сопоставленія ихъ объихъ ярко и отчетливо выясняется передъ нами все содержание основной мысли произведенія. Только вторая часть и заставляеть нась почувствовать бъдность и искусственно разукрашенную ничтожность человъческой жизни. Прочтите хотя-бы заключительныя строки разсказа, дышащія не только объективизмомъ, но почти отвращеніемъ къ человѣку, и вы поймете, насколько впечатлъніе разсказа обусловлено его послъднею частью: «Ходившее по свъту, ввшее и пившее, мертвое тело Серпуховского убрали въ землю гораздо послъ. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А какъ уже 20 лътъ всъмъ въ великую тягость было его ходившее по свёту мертвое тёло, такъ и уборка этого тъла въ землю была только лишнимъ затрудненіемъ для людей. Никому уже онъ давно быль не нужень, всёмь уже давно онь быль въ тягость: но все-таки мертвые, хоронящіе мертвыхъ, нашли нужнымъ одъть это тотчасъ-же загнившее тъло въ хорошій мундиръ, въ хорошіе сапоги, уложить въ новый, хорошій гробъ, съ новыми кисточками на четырехъ углахъ, потомъ положить этотъ новый гробъ въ другой, свинцовый, и свезти его въ Москву и тамъ раскопать давнишнія людскія кости. и именно туда спрятать это гніющее, кишащее червями тёло въ новомъ мундирё и вычищенныхъ сапогахъ. и засыпать все землею».

# Разсказы изъ севастонольской и кавказской жизни.

Война — этотъ старинный и до сихъ поръ неизбъжный фактъ исторіи-съ незапамятныхъ временъ привлекала къ себъ интересъ и внимание человъка и своимъ роковымъ значеніемъ возбуждала въ немъ чувство ужаса, удивленія и восторга. Съ незапамятныхъ временъ сдълалась она и предметомъ народнаго творчества. Каждый народъ имъль свой героическій эпосъ и поприщемъ подвиговъ его героевъ была неизмённо война. Героп эти выростали въ народномъ воображении до необыкновенныхъ размъровъ силы и мужества, самая-же война превращалась въ какую-то блестящую арену ихъ удивительныхъ подвиговъ и разсматривалась какъ-то отвлеченно, только въ ея общихъ результатахъ, въ торжествъ побъды или позоръ пораженія, независимо отъ тъхъ страданій и крови, изъ которыхъ она состояла въ дъйствительности. Съ индивидуализаціей творчества не измънилось отношение поэзіи къ войнъ. Писатели древняго міра, псевдо-классики и романтики, несмотря на все разнообразіе ихъ міропониманія и ихъ литературныхъ пріемовъ, сощинсь, однако, въ точкі зрібнія на войну. Всѣ они изображали ее съ той стороны, съ которой видны только слава и доблесть ея ивятелей. Не избъгали они, правда, и ея ужасовъ, представляли ихъ даже, быть можетъ, гиперболически, но-лишь въ общей и безличной картинъ. лишь какъ стихію войны, которая служила прекраснымъ фономъ для изумительныхъ дъяній ея героевъ... Пришло время реализма въ искусствъ; но и зятьсь прежняя иллюзія войны полго не уступала народившемуся стремленію къ правдів. Достаточно вспомнить, напримъръ, «Полтаву» Пушкина-родоначальника нашихъ реалистовъ. И нетолько Пушкинъ, платящій еще значительную дань романтизму, но и такой несомнънный реалистъ, какъ Гоголь, перель величіемь войны отступаеть отъ своей натуралистической манеры. Что такое война въ его «Тарасъ Бульбъ»? Это не жизнь массы человъческихъ елиницъ, думающихъ, чувствующихъ, страдающихъ оть рань, истекающихъ кровью и умирающихъ; это — изображеніе мощи и дикой силы запорожскаго характера, это-великоленная картина казацкой удали и разгула, вставленная въ эфектную раму истребленія и смерти.

Графъ Толстой первый подошель къ правдѣ войны и, сдернувъ навъшанныя на нее покрывала, смъло взглянулъ въ лицо ея. Война никогда не является у него только пьедесталомъ славы какого-либо героя, только рамою, оттъняющею чьи-либо подвиги. Онъ

интересуется самымъ процессомъ войны. онъ стараетея проникнуть и понять ея бурную хаотическую стихію, онъ анализируетъ и расчленяеть ее на отдёльныя событія, въ которыхъ она воплощается; онъ слъдить не за движеніями массь, но за судьбою кажлой человъческой единицы, потонувшей въ этихъ массахъ. И ему улается изъ этого моря людей, нивеллированныхъ мундиромъ и дисциплиною, выдълить человъческую личность и живыми чертами изобразить ея душу среди исключительной обстановки. созданной войною. Благодаря этому, всё участники войны, начиная отъ генерала и кончая последнимъ соллатомъ, становятся дъйствительными героями его изображеній. Привязанный своимъ художническимъ интересомъ къ личности, онъ не покидаетъ ее втеченіе всего разсказа и никогда не заходить въ тъ области созерцанія, гдъ личность пропадаеть и откупа вилна только стратегическая схена дъйствій; личность - пъль его творчества, и онъ всюду съ нею: и на полъ битвы, и въ ложементъ, и въ солдатской казармъ, и въ офицерской квартиръ, и на городскомъ бульваръ, и въ лазаретъ; онъ показываетъ ее и въ моменть опасности, подъ градомъ непріятельскихъ пуль и гранать, и въ моменть отдыха, гдв-нибудь у горящаго костра, —показываеть, что она ощущаеть и думаеть, какъ веселится въ свободную минуту, какъ шутить подъ свистящими пулями, какъ мучительно иногда боится, какъ отдается тщеславному чувству, мечтамъ о наградахъ, о славъ, какъ спокойно и просто совершаетъ подвиги мужества и великодушія и какъ мелочно, грубо и эло вздорить изъ-за какого-нибудь проиграннаго въ карты рубля; показываеть, какъ создаются событія войны, какъ приказывають и какъ повинуются, какъ челов'єкъ втыкаеть штыкъ въ другого челов'єка, какъ гранаты и бомбы рвуть на части его т'єло, какъ падаеть онъ въ грязь и кровь свалки, какъ стонеть — раненый, какъ умираеть — убитый...

Этотъ микроскопическій анадизъ войны у графа Толстого явился новымъ и оригинальнымъ пріемомъ творчества. Теперь-же онъ сдёлался пріемомъ необходимымъ: только такой анализъ и можетъ раскрыть дъйствительную правду и смыслъ массовыхъ движеній. Современные художники поняли это и при изображеніи войны сознательно или безсознательно слъдуютъ манеръ графа Толстого.

Все сказанное нами объ истинно реалистическомъ представленіи войны относится ко всёмъ произведеніямъ нашего художника, касающимся военныхъ событій. Но пока мы не будемъ говорить о крупнёйшемъ и замёчательнёйшемъ изъ нихъ—о «Войнё и Мирё» — и ограничимся только севастопольскими и кавказскими разсказами. Разсказы эти явились раньше названнаго историческаго романа и въ нихъ впервые выразился тотъ смёлый и глубокій взглядъ на жизненную правду войны, который впослёдствій съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ авторъ проводиль въ широкой картинё народныхъ движеній, вызванныхъ Наполеоновскими походами. Но кром'ю этого общаго всёмъ разсказамъ взгляда, въ нихъ

свътится еще одна мысль, связывающая ихъ единствомъ содержанія, -мысль, почти неотступно преслѣловавшая графа Толстого и сказавшаяся во многихъ его произведеніяхъ. Мысль эта открывается намъ изъ постояннаго сопоставленія, въ однихъ и тъхъ-же положеніяхь войны, культурнаго человіка, члена пивилизованнаго, городского общества, и простого солдата, первобытнаго сына деревни. Болье развитый умъ образованнаго человъка, постоянно чувствуюшаго свое я, не можеть не сознавать грозящихъ ему отовсюту опасностей войны, а потому естественно не можеть не ощущать и страха передъ ними. Это ощущение страха неотступно слъдуеть за нимъ, прокралывается въ душу при малъйшей возможности опасности, и для того, чтобы не поддаться его власти, чтобы исполнить свой полъ, чтобы не явиться трусомъ, онъ долженъ вести постояную борьбу съ собою, долженъ напрягать свою нервную силу, долженъ искать опоры въ другихъ мотивахъ, способныхъ преодольть поднимающіяся побужденія боязни и самосохраненія. Образованный человіть можеть быть храбръ, можетъ отчаянно рисковать жизныю, но храбрость его-не спокойное мужество, а тревожное нервное состояніе, являющееся продуктомъ напряженной и сложной работы душевныхъ силъ. Совсъмъ другое—душа простого человѣка. Внутренній миръ его больше привязанъ къ факту, больше ограниченъ минутою настоящаго, больше опредъляется изъ внёшней дъйствительности, чъмъ изъ отвлеченныхъ состояній сознанія; но дёйствительность войны, разложенная на ея составные моменты, не есть только опасность: это прежде всего—рядь обязанностей, лежащихь на каждомъ солдать и офицерь, это—разныя непредвидьныя случайности, это—непрерывно смыняющияся впечатлый, то тяжелыя, подавляющия, то радостныя, то комическия. И простой человык живеть этими впечатлыйнями и, занятый своимъ дыломъ, не думаеть объ опасности. Поэтому для него какъбы не существуеть самой опасности и онъ можеть спокойно и просто дылать то, что надо, можеть спокойно и просто совершать истинныя чудеса храбрости и героизма, не сознавая ни мыры своего риска, ни значения своихъ подвиговъ.

Это глубокое различіе въ душевномъ стров культурнаго и простого человъка, прекрасно подмъченное графомъ Толстымъ, и есть тотъ мотивъ, который проходитъ черезъ всѣ его разсказы изъ военнаго быта.

Для иллюстраціи взглядовъ автора на этотъ предметь, мы позволимъ себѣ привести параллельно нѣкоторыя сцены изъ его севастопольскихъ разсказовъ.

Вотъ что чувствовалъ адыотантъ Калугинъ (человъкъ изъ петербургскаго общества), подъвзжая къ одному изъ бастіоновъ Севастополя во время жаркой канонады: — «Ахъ, скверно! — подумалъ онъ, испытывая накое-то непріятное чувство, и ему тоже при шло предчувствіе, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугинъ былъ самолюбивъ и одаренъ деревянными нервами, то, что называютъ храбръ, однимъ словомъ. Онъ не поддался

первому чувству и сталъ ободрять себя, вспомниль про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передавъ приказаніе, маршъ-маршъ, съ окровавленной головой подскакалъ къ Наполеону.

— «Vous êtes blessé?» сказалъ ему Наполеонъ.—«Je vous demande pardon, sire, je suis mort»,—и адъютантъ упалъ съ лошади и умеръ на мъстъ.

«Ему показалось это очень хорошо, и онъ вообразиль себя даже немножко этимъ адъютантомъ, потомъ ударилъ лошадь плетью и приняль еще болъе лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который стоя на стременахъ рысилъ за нимъ, и совершеннымъ молодцомъ прівхаль къ тому місту, гді надо было слъзать съ лошади... Онъ пошелъ по траншев въ гору, на каждомъ шагу встръчая раненыхъ. Поднявшись въ гору, онъ повернулъ налѣво и, пройля по ней нъсколько шаговъ, очутился совершенно одинъ. Близехонько отъ него прожужжаль осколокъ и уларился въ траншею. Другая бомба поднялась перелъ нимъ и, казалось, летела прямо на него. Ему вдругъ сдълалось страшно; онъ рысью пробъжалъ шаговъ пять и прилегь на землю. Когда-же бомба допнула далеко отъ него, ему стало ужасно досадно на себя и онъ всталъ, оглядываясь, не видалъ-ли кто его паденія; но никого не было.

«Уже разъ проникнувъ въ душу, страхъ не скоро уступаетъ мъсто другому чувству. Онъ, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть не ползкомъ пошелъ по траншеъ. «Ахъ! нехорошо!» подумалъ онъ, споты-

кнувшись, «непремѣню убыють»; и чувствуя, какъ трудно дышалось ему и какъ поть выступаль по всему тѣлу, онъ удивлялся самому себѣ, но уже не пытался преодолѣть своего чувста. Вдругъ гдѣ-то шаги послышались впереди его. Онъ быстро разогнулся, подняль голову и, бодро побрякивая саблей, пошель уже не такими скорыми шагами, какъ прежде. Онъ не узнавалъ себя. Когда онъ сошелся со встрѣтившимся ему сапернымъ офицеромъ и матросомъ и первый крикнулъ ему: «ложитесь!», указывая на свѣтлую точку бомбы, которая, свѣтлѣе и свѣтлѣе, быстро приближаясь, шлепнулась около траншеи, онъ только немного и невольно, подъ вліяніемъ испуганнаго крика, нагнулъ голову и пошелъ дальше.

— Вишь, какой бравый! сказаль матрось, который преспокойно смотрълъ на падавшую бомбу и опытнымъ глазомъ сразу расчель, что осколки ея не могутъ задъть въ траншеъ:—и ложиться не хочетъ.

«Уже нѣсколько шаговъ только оставалось Калугину перейти черезъ площадку до блиндажа командира бастіона, какъ опять на него нашли затмѣніе и этотъ глупый страхъ; сердце забилось сильнѣе, кровь хлынула въ голову, и ему нужно было усиліе надъ собою, чтобы пробѣжать до блиндажа».

А вотъ сценка изъ солдатскаго быта, также въ севастопольской траншеѣ, также подъ непріятельскими выстрѣлами:

«Около порога (блиндажа) сидѣли два старыхъ и одинъ молодой, курчавый солдать, изъ жидовъ, прикомандированный изъ пѣхоты. Солдатъ этотъ, поднявъ одну изъ валявшихся пуль и черенкомъ расплюснувъ ее о камень, ножомъ выръзалъ изъ нея крестъ на манеръ георгіевскаго; другіе разговаривая смотръли на его работу. Крестъ дъйствительно выходилъ очень красивъ.

- «— А что, какъ еще постоимъ здѣсь скольконибудь, говорилъ одинъ изъ нихъ, —такъ по замиреніи всѣмъ въ отставку срокъ выйдеть.
- « Какже, мнѣ и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять мѣсяцевъ простоялъ въ Севастополѣ.
- «— Къ отставкъ не считается, слышь, сказалъ другой.

«Въ это время ядро просвистѣло надъ головами говорившихъ и въ аршинъ ударилось отъ Мельникова (солдата), подходившаго къ нимъ по траншеѣ.

- «- Чуть не убило Мельникова, сказалъ одинъ
- «— Не убъетъ, отвѣчалъ Мельниковъ.
- «— Воть на-же тебъ кресть за храбрость, сказаль молодой солдать, дѣлавшій кресть, отдавая его Мельникову.
- «— Нътъ, братъ, тутъ, значитъ, мъсяцъ за годъ ко всему считается на то приказъ былъ, продолжался разговоръ.
- «— Какъ ни суди, безпремѣнно по замиреніи сдѣлають смотръ царскій въ Оршавѣ, и коли не отставка, такъ въ безсрочные выпустять.

«Въ это время визгливая, зацъпившаяся пулька пролетъла надъ самыми головами разговаривавшихъ и ударилась о камень.

«— Смотри, еще до вечара въ *чистую* выйдешь, сказаль одинъ солдать.

«Всѣ засмѣялись.

«И не только до вечера, но черезъ два часа уже двое изъ нихъ получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно такъ же».

Сравните теперь адъютанта Калугина съ этими солдатами. Невъроятнымъ кажется, что это существа одной породы: до такой степени велика бездна ихъ раздъляющая, до такой степени ничтожно сходство ихъ отношеній къ одной и той-же возможности смерти! Аффектированная храбрость Калугина, вызванная красивыми мечтами и тщеславнымъ чувствомъ, глубоко чужда душъ этихъ солдатъ, точно также какъ ихъ изумительное спокойствіе и наивная покорность судьбъ совершенно недоступны душъ свътскаго адъютанта.

Калугинъ отнюдь не исключительная личность въ русскомъ военномъ быту, какъ представляетъ его графъ Толстой. Къ нему примыкаетъ цѣлая группа родственныхъ ему по духу Гальциныхъ, Праскухиныхъ, Болховыхъ, Розенкранцевъ, Михайловыхъ; съ другой стороны, выведенный типъ душевной простоты и спокойствія обнимаетъ огромный солдатскій міръ, захватывая въ него и многихъ, преимущественно армейскихъ, офицеровъ, вродѣ капитана Хлопова, который и подъ непріятельскими ядрами остается «такимъ-же, какъ и всегда», и совершенно не понимаетъ, зачѣмъ это нужно казаться чѣмъ-нибудъ?

Что-же образовало эти двъ столь различныя груп-

пы, что провело между ними эту бездну? Цивилизація, говорить намъ авторь. Это она создала Калугиныхь, Болховыхь и Розенкранцевь и, оторвавь ихъ отъ естественности и правды, которая сохранилась еще въ нашемъ народѣ, унесла на ту сторону бездны, гдѣ царитъ ложь и тщеславіе. Мысль, приведшая автора къ такому воззрѣнію на жизнь, не укладывается ни въ одну изъ ходячихъ доктринъ; мысль эта несравненно глубже и радикальнѣе: она отправляется не отъ противоположенія западной и славинской культуръ, не отъ предпочтенія основъ народной жизни,—она беретъ цивилизацію вообще и видитъ въ ней какую-то роковую и колоссальную ощибку человѣчества, какое-то злое начало, нарушивнее правду и гармонію природы.

Эта-же идея, только въ еще болье чистомъ и яркомъ выраженіи, нашла себъ мъсто въ прелестной, замъчательно-поэтической повъсти «Казаки». — Давно, давно какіе-то казаки—старовъры «бъжали изъ Россіи и поселились за Терекомъ, между чеченцами, на Гребнъ, первомъ хребтъ лъсистыхъ горъ Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки сроднились съ ними и усвоили себъ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотъ, русскій языкъ и старую въру». Этотъ-то своеобразный казацкій мірокъ и описываетъ графъ Толстой въ своей повъсти. Вся жизнь этого ръзко-обособленнаго мірка, этого миніатюрнаго человъческаго общества—и въ обычномъ ея содержаніи, и въ ея исключительныхъ, крупныхъ событіяхъ—от-

разилась въ изображеніи графа Толстого, отчего самое изображение получило характеръ уливительной художественной законченности и полноты. За предълами этой казацкой станины живуть, правда, другіе люди, течетъ другая жизнь, но она не смъщивается съ жизнью казаковъ, и если даже врывается въ нее, то чужлыми ей потоками, неспособными напушить ея первобытной цёльности. «Еще до сихъ поръ казанкіе роды считаются родствомъ съ чеченскими. и любовь къ свободъ, праздности, грабежу и войнъ составляеть главную черту ихъ характера»... «Казакъ большую часть времени проводить на кордонахъ, въ походахъ, на охотъ или рыбной довлъ. Онъ почти никогда не работаетъ дома. Пребывание его въ станицъ есть исключение изъ правила, и тогда онъ имлетт. Вино у казаковъ у всёхъ свое, и пьянство есть не столько общая всёмь склонность, сколько обрядь, неисполнение котораго сочлось-бы за отступничество. На женщину казакъ смотрить какъ на орудіе своего благосостоянія; дівкі только позволяеть гулять, бабу-же заставляеть съ молодости и по глубокой старости работать иля себя, и смотрить на женщину съ восточнымъ требованіемъ покорности и труда». Какова-же должна быть личность человъка при такомъ стров жизни? Графъ Толстой съумъль заглянуть въ душу этихъ людей и создалъ цёлый рядъ оригинальныхъ въ ихъ естественности и простотъ и глубоко-правдивыхъ характеровъ. На первомъ планъ вы видите дядю Ерошку. Это старый бобыль, неутомимый охотникъ, веселый собесъдникъ и гуляка, но въ то-же время онъ, если хотите, и свободный мыслитель и гуманистъ станицы. Посмотрите, до чего онъ додумался въ своихъ одинокихъ скитаніяхъ среди величественной кавказской природы: «Я бывало со всёми кунакъ. Татаринъ—татаринъ; армяшка—армяшка; солдатъ—солдатъ; офицеръ—офицеръ. Мнё все равно, только-бы пьяница былъ. Ты, говорить, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не цей, съ татариномъ не виль.

- «— Кто это говорить? спросиль Оленинъ.
- «— А уставщики наши. А муллу или кадія татарскаго послушай, онъ говорить: «вы невърные гяуры, зачъмъ ъдите?» Значить, всякій свой законъ держить. А по моему все одно. Все Богъ сдълаль на радость человъку. Ни въ чемъ гръха нътъ. Хоть съ звъря примъръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышъ живетъ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А наши говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь, прибавилъ онъ помолчавъ.
  - «— Что фальшь? спросилъ Оленинъ.
- «— Да что уставщики говорять. У насъ, отець мой, въ Червленой войсковой старшина—кунакъ мнѣ быль... Такъ онъ говорилъ, что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говоритъ, трава выростетъ на могилъ, вотъ и все (старикъ засмъялся)».

Въ чувствахъ и симпатіяхъ своихъ дядя Ерошка

вполнъ самостоятеленъ и независимъ отъ общественнаго мнънія станицы. Среди всеобщаго ликованія казаковъ въ то утро, когда Лукашка убилъ абрека, одинъ онъ не радуется. Убійство, хотя-бы и врага, вызываетъ въ немъ не радость, а чувство глубокаго сожальнія.

«— Чего не видать! съ сердцемъ сказалъ старикъ (когда Лукашка показывалъ ему трупъ убитаго абрека), и что-то серьезное и строгое выразилось въ лицъ старика. Джигита убилъ, сказалъ онъ какъбудто съ сожалъніемъ».

Кром'в дяди Ерошки, къ выдающимся персонажамъ пов'єсти можно причислить Лукашку, представителя казацкой силы и удали, и строгую красавицу Марьянку—эту своебразную пару влюбленныхъ; дал'є сл'єдуютъ Назарка, пріятель и неизм'єнный сподвижникъ Лукашки, старый и безтолковый казакъ Ергушка, хорошенькая и веселая Устенька, мать Марьянки, мать и сестра Лукашки и др. Мы не будемъ останавливаться на характеристик'є каждаго изъ этихъ лицъ; скажемъ только, что вс'є они запечатл'єны чертами яркой индивидуальности, живы, выразительны, поэтичны и въ то-же время вс'є они в'єрны тому психологическому типу простого, некультурнаго челов'єка, который только и могъ сложиться въ условіяхъ ихъ первобытной, изолированной жизни.

Воть въ этоть-то уголокъ Кавказа, къ этимъ-то людямъ попадаеть герой повъсти, «молодой человъкъ» изъ московскаго общества—Оленинъ Принадлежа къ тому классу русскаго народа, который пу-

темъ постепеннаго историческаго откръпленія совершенно освоболился отъ всёхъ органическихъ связей съ государствомъ и обществомъ; живя въ то время. которое съ раннихъ лътъ разрущило въ немъ всякую въру: настолько богатый, чтобы не быть рабомъ нужды; безъ семьи, безъ опредъленнаго дъла, Оленинъ, свободный и ищущій счастья, стояль среди жизни и раздумываль надъ тёмъ, что ему сдёлать изъ себя. куда положить ему свои молодыя силы. Онъ много увлекался, усп'влъ промотать на разныя городскія удовольствія половину своего состоянія, но въ душ'є его жила та благородная и протестующая требовательность, та эгоистическая, но высокая жажда счастья, которая не позволила ему удовлетвориться этими жалкими подачками жизни, заставила признать ихъ случайными и незначительными, искать новой жизни, безъ прежнихъ ошибокъ, безъ постояннаго раскаянія. Поприщемъ этой новой жизни онъ, по установившейся для всёхъ неудовлетворенныхъ натуръ традиціи, выбралъ Кавказъ, соединяющійся въ его представленіи «съ образами Амалать-бековъ, черкешенокъ, горъ, обрывовъ, страшныхъ потоковъ и опасностей», и объщающій славу и какую-то заманчивую неизвъстность. Пріъхавъ на Кавказъ и поселившись въ описанной станицъ Гребенскихъ казаковъ, Оленинъ нашелъ совсъмъ не то, что ожидаль; но то, что онъ нашель, оказалось неожиданно хорошимъ. «Никакихъ здёсь нётъ бурокъ, стремнинъ, Амалатъ-бековъ, героевъ и злодъевъ», думаль онъ, познакомившись съ дъйствительностью кавказской жизни; «люди живуть, какъ живеть природа; умирають, родятся, совокупляются, опять родятся, деругся, пьють, вдять, радуются, и опять умирають, -- и никакихъ условій, исключая тъхъ незаменныхъ, которыя положила природа солниу, травъ, звърю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нътъ»... И оттого люди эти въ сравненіи съ нимъ самимъ казались ему прекрасны, сильны, свободны, и глядя на нихъ ему становилось стыдно и грустно за себя. Правиа и поэзія этой жизни влекла его къ себъ и ему приходила иногда въ голову серьезная мысльприписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкъ и жить съ дялей Ерошкой, Лукашкой, со всей станицей. Но смутное сознание невозможности иля него такой жизни удерживало его. Критическое отношение къ себъ, потребность сознательныхъ пълей сохранилась у него и здъсь, и онъ вылумаль для себя особую теорію счастья, по которой оно лостигалось только любовью къ другому. только самоотверженіемь. Въ этой теоріи онъ спасался отъ подступавшей иногда тоски одиночества, оть зависти къ чужому счастью. Не долго однако выдержала эта теоретическая крупость передъ натискомъ природы, передъ стремленіемъ истинной страсти. «Пришла красота и въ прахъ разсъяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу»... Оленинъ полюбилъ красавицу Марьяну. Любовь пришла незамътно и постепенно. Сначала онъ любовался ею, какъ совершенствомъ природы, и зная, что ее выпають за Лукашку, находиль особенное удовольствіе

покровительствовать ихъ любви и дёлать лобро иля Лукашки; но мало-по малу росла и развивалась страсть и наконецъ достигла той степени силы и власти, когда все счастье, весь смыслъ жизни сосредоточиваются въ любимомъ существъ. Какъ холодное и искусственное построение ума, какъ «вздоръ и личь», отбросиль онь теперь свою теорію самоотверженія; теперь онъ все готовъ быль слілать, чтобы только покорить душу любимой Марьяны, чтобы забросить въ нее хоть искру сочувствія изъ своей пылающей груди. И вотъ теперь-то онъ мучительно чувствуетъ проклятіе своего прошлаго, чувствуетъ свое безсиліе, сознаеть, что «не для него эта женщина, это единственно возможное на свътъ счастье». Онъ знаетъ, что она никогда не пойметъ его. «Она счастлива, --пишетъ онъ:--она, какъ природа, ровна, спокойна и сама въ себъ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мои уродства и мои мученія... Воть ежели-бы я могь сдёлаться казакомъ Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пъснями, убивать людей и пьянымъ влъзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я и зачёмъ я-тогда-бы другое дёло. тогда-бы мы могли понять другь друга, тогда-бы я могь быть счастливь. Я пробоваль отдаваться этой жизни, - и еще сильнъе чувствоваль свою слабость. свою изломанность. Я не могь забыть себя и своего сложнаго, не гармоническаго, уродливаго прошедшаго». И Оленинъ правъ въ своемъ отчанніи: Марьяна дъйствительно отталкиваетъ его...

Върна или невърна сама по себъ указанная нами выше идея о неизбъжномъ злъ цивилизаціи, разсматриваемая повъсть остается во всякомъ случат высоко-художественнымъ и правдивымъ произведениемъ. Оленинъ, съ своимъ развитымъ умомъ и утонченнымъ цивилизаціей чувствомъ, могъ полюбить красоту первобытной, неиспорченной женской природы, явившейся ему въ образъ Марьяны; Марьяна-же, поставленная съ своимъ сердцемъ въ положение судьп между Оленинымъ и Лукашкой, совершенно естественно предпочитаетъ последняго. Не умен понять даровъ духа, которыми культура наградила Оленина, она въ то-же время прекрасно чувствуетъ въ немъ недостатокъ тъхъ достоинствъ природы и силы, которыми обладаеть Лукашка. Оленинъ побъжденъ въ этой борьбѣ за счастье любви, и побѣжденъ благодаря своему «сложному, негармоническому, уродливому прошлому», данному ему цивилизованнымъ обществомъ.

### VI.

#### "Семейное счастье".

Кого не прелыцали мечты любви, кого не увлекала ен чудная поэзія, кто не искаль ен высокихъ восторговъ!.. Вѣчно поеть о ней пѣсни, поэты не устають говорить о ней, и слова ихъ все также свѣжи и сильны, какъ прежде, также доступны сердцу чечовѣка, также властны будить въ немъ заснувшія воспоминанія и поднимать золотыя надежды новаго счастья. Любовь — это великая потенція человѣка, чарующій источникъ наслажденія, красоты и поэзіи, это—свѣтозарная вершина жизни, непреодолимыми силами влекущая къ себѣ все живое. Надѣляя человѣка способностью любви, природа, казалось, котѣла вознаградить его за всѣ страданіи, за бѣдность и пошлость жизни, котѣла дать ему дорогое и несомнѣнное благо.

Графъ Толстой, пытливо ищущій въ жизни того, что могло бы удовлетворить человъка, не могъ не отмътить, конечно, этого выдающагося блага. Онъ отозвался на него романомъ «Семейное счастье». Ро-

манъ этотъ выражаетъ какъ-бы чистый законъ любви. Все лишнее, осложняющее, устранено изъ него съ такою тщательностью, что онъ производитъ впечатлъніе почти психологическаго эксперимента. Въ немъ въ сущности, только два дъйствующихъ лица—онъ и она, Сергъй Михайловичъ и Маша. Его фабула проста до полнаго отсутствія всякихъ внъшнихъ событій, и все содержаніе его исчерпывается естественною и необходимою драмою чувства.

Завязка романа сводится къ тому, что Сергъй Михайловичь, помещикъ тридцати-шести леть, нолюбилъ свою сосъдку по имънію, красивую семнадцатильтнюю дъвушку Машу. Она отвъчала ему самой полной и искренней взаимностью. Любовь ихъ была нъжная и сильная, стыдливая и гордая, чистая и прозрачная, но въ то-же время это не быль только плодъ воображенія, только надуманная прекрасная мечта: это было истинное, человъческое чувство. согрътое и обвъянное дыханіемъ страсти, сдержанное и поднятое идеальными стремленіями. Любовь соединила ихъ: они сдълались мужемъ и женой. Началась семейная жизнь, открылась возможность «семейнаго счастья...» «Бракъ есть высочайшая награда любви». писаль когла-то Бълинскій, и многіе идеалисты думають вивств съ нимъ, что бракъ-это непреходящее и немеркнущее счастье любви, что семья-это какойто зачарованный міръ, гді візчно разлито поэтическое сіяніе молодой страсти.

Не такъ смотритъ на семейную жизнь нашъ художникъ. Два мъсяца Сергъй Михайловичъ и его

молоная жена были дъйствительно счастливы. Жизнь ихъ была не хуже ихъ прежнихъ мечтаній. «Не было этого строгаго труда, пишетъ Маша, исполненія долга, самоножертвованія и жизни для другого, что я воображала себъ, когда была невъстой; было, напротивъ, одно себялюбивое чувство любви другъ къ другу, жедание быть любимымъ, безпричинное, постоянное веселье и забвеніе всего на свъть...» Но «прошло два мѣсяца, пришла зима съ своими холодами и метедями, и я, несмотря на то, что онъ быль со мною. начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, и нътъ ни во мнъ, ни въ немъ ничего нового, а что, напротивъ, мы какъ будто возвращаемся къ старому. Онъ началъ заниматься дёлами безъ меня больше чёмъ прежде, и опять мит стало казаться, что есть у него въ душт какой-то особый мірь, въ который онъ не хочеть впускать меня. Его всегдащиее спокойствіе раздражало меня». Итакъ, черезъ два мъсяца уже легкан тънь набъжала на взаимныя отношенія мужа и жены, и едва замътная трещинка уже расколола гармонію ихъ свътлаго счастья. Замътивъ состояние своей жены, Сергъй Михайловичь предложиль переъхать на зиму въ Петербургъ. Здёсь они вошли въ свётскую жизнь и Маша увлеклась ею больше, чъмъ ожидалъ и хотълъ ея мужъ, здъсь произошла первая размолька, прокралось первое непонимание другь друга, сказалось первое жесткое слово, поднялась первая мысль осужденія — и навсегда исчезли прелесть и счастье прежнихъ отношеній. «Прежнія наши отно-

шенія, разсказываеть Маша, когда бывало всякая непереданная ему мысль, впечатлёніе, какъ преступленіе, тяготило меня, когла всякій его поступокъ, слово, казались мнѣ образцомъ совершенства, когла намъ отъ радости смъяться чему-то хотълось, гляля лругъ на друга, - эти отношенія такъ незамътно перешли въ пругія, что мы и не хватились, какъ ихъ не стало. У каждаго изъ насъ явились свои интересы, заботы, которые мы уже не пытались сдёлать общими...» «Когда мы оставались одни, что случалось ръдко, я не испытывала съ нимъ ни радости, ни волненія, ни зам'єшательства, какъ будто я сама съ собой оставалась. Я знала очень хорощо, что это былт мой мужъ, не какой-нибуль новый, неизвъстный человъкъ, а хорошій человъкъ, — мужъ мой, котораго я знала, какъ самое себя. Я была увърена, что знала все, что онъ сдълаетъ, что скажетъ, какъ посмотритъ... Я ничего не ждала отъ него. Однимъ словомъ, это быль мой мужъ и больше ничего».

Что-же случилось? Ничего особеннаго, ничего неожиданнаго. Никто изъ нихъ не совершилъ дурного или позорнаго поступка, ничто не измѣнилось изъ внѣшнихъ условій ихъ жизни; не было даже неизбѣжнаго почти въ каждой семейной драмѣ третьяго лица, которое-бы стало между ними и, возбудивъ чувство къ себѣ, разрушило ихъ прежній союзъ; поводомъ къ ихъ размолвкамъ и несогласіямъ служили всегда такія маленькія, ничтожныя, повседневныя обстоятельства: ей хотѣлось на балы,—его тянуло въ деревню; она болтала съ кузиною про свои семейныя

отношенія, его оскорбляло это легкомысленное залъзаніе въ святыню его чувства. Можно-бы пумать. что настоящею причиною паденія ихъ счастья было несходство возрастовъ: ему было 36 дътъ, ей 17, онъ пережиль уже всевозможныя увлеченія въ жизни, перель ней они только теперь раскрывались. Но развъ лучше было-бы для ихъ любви, еслибы оба они увлекались удовольствіями свъта, различными приманками столичной жизни, еслибы вмёсто испытаннаго жизнью человъка, старающагося оберегать дорогое сокровище своей любви, ея мужемъ быль-бы какойнибудь юноша, легкомысленно отдающійся всёмъ соблазнамъ: развъ не скоръе еще погибло-бы тогда ихъ взаимное счастье? Нътъ, не отъ того исчезло оно. Человъкъ слишкомъ бъденъ, ограниченъ и неподвиженъ, чтобы надолго удовлетворить то громадное требование совершенства, которое присуще любви. Вотъ истинная причина ея неизбъжнаго увяданія. Страсть поднимаеть челов'єка на такую высоту душевныхъ настроеній и ожиданій, вызываеть въ немъ такія ніжныя, интимныя чувства, держится на такихъ тонкихъ и хрупкихъ отношеніяхъ, для которыхъ губительными оказываются легчайшія прикосновенія грубой д'єйствительности. А такія прикосновенія въ жизни неизбъжны, и прежде всего и больнъе всего мы чувствуемъ ихъ отъ любимаго человъка. Истинная страсть - какъ-будто не отъ міра сего. Какъ экзотическое произведение какой-то невъдомой сферы, она не можеть долго жить на землъ; какъ лучезарный эфемеридъ, она слетаетъ къ человъку только на нъсколько мгновеній... Психологическій процессь увяданія страсти составляєть, какъ мы уже сказали, основное содержаніе разсматриваемаго романа и проведень въ немъ съ обычнымъ мастерствомъ и правдивостью нашего художника.

Но что-же остается отъ семейнаго счастья?—«Съ этого дня кончился мой романъ съ мужемъ; старое чувство стало дорогимъ, невозвратнымъ воспоминаніемъ, а новое чувство любви къ дётямъ и къ отцу моихъ дётей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила въ настоящую минуту...», такъ заканчиваетъ авторъ свое произведеніе, и показавъ намъ яркую картину паденія прежняго счастья, опускаетъ занавъсъ передъ началомъ какого-то смутнаго, пераскрытаго счастья новой жизни.

## VII.

#### "Война и Миръ".

Справедливо было указано нашею критикою, что «Война и Миръ» графа Толстого есть явленіе безпримърное во всей дитературъ новаго времени. Сравнивать это монументальное произведение можно только съ эпическими созданіями древности-съ Иліадой, Одиссеей или Нибелунгами. Только съ ними соизмърима «Война и Миръ» по широтъ ея захвата, по универсальности ея солержанія: какъ и въ нихъ, въ ней отразилась вся жизнь народа въ извъстную эпоху: какъ и въ нихъ, изображаемая жизнь раздвинута въ ней великими историческими событіями далеко за предълы ея спокойнаго, будничнаго, мирнаго теченія. Едва-ли можно указать такія возможности жизни, которыхъ-бы не коснулась эта грандіозная эпопея; едва-ли можно указать тотъ душевный мотивъ. то чувство, страсть, способность, тотъ складъ ума и характера, которыя-бы не были изображены словно всевъдущимъ авторомъ. Лица разнообразнъйшихъ положеній-отъ властелина полу-Европы, какимъ быль

Наполеонъ, до послъдняго нишаго; событія-отъ перваго пробужденія робкаго и ніжнаго чувства въ душі мололой д'явушки до громалных и страшных столкновеній многотысячныхъ массъ, каковы Аустерлицкое и Боролинское сраженія: нравственныя проявленія личности — отъ сцены отвратительной борьбы адчныхъ наслёдниковъ возлё постели умирающаго до истинно-человъческой любви, до искренней жажды добра, до подвига несомивниаго героизма-все нашло себъ мъсто въ этой гигантской картинъ, все нашло свой образъ, облеклось въ художественную, гармоническую, въчно-прекрасную форму. Невольно поражаешься этимъ богатствомъ творчества, этой неистощимостью поэтическаго вымысла, этимъ изумительнымъ всепониманіемъ автора и только въ этомъ произведеніи, только прочтя «Войну и Миръ», начинаешь постигать необыкновенную личность и великій геній нашего писателя.

Но эпопея въ девятнадцатомъ въкъ! Возможно-ли это? Всъ извъстныя намъ эпопеи древности сложились на заръ исторіи, въ періодъ дътства народовъ, когда міросозерцаніе человъка было просто, напвно и опредъленно, когда категоріи добра и зла сознавались всъми ясно и совершенно одинаково. Но какъ возможна эпопея въ наше неимовърно усложнившееся и спутавшееся время, когда всякій народъ раздробился на множество отдъльныхъ группъ, едва способныхъ понимать другъ друга? Какому воззрѣнію подчинить художникъ свое творчество, въ какой идеть обниметь изображаемую имъ жизнь, когда передъ

нимъ столько неръшенныхъ проблеммъ мысли, столько сомнъній и, главное, столько искусственныхъ системъ, столько произвольныхъ, взаимно исключающихъ утвержденій? Выбрать идею условную и ограниченную, идею партіп или доктрины, и извратить въ угоду ей художественную правду своего произвенія, или-же, отръшившись отъ всякой идеи, лишить его внутренняго единства и создать только длинный рядъ механически слитыхъ сценъ и картинокъ—вотъ, казалось-бы, неизбъжная альтернатива, ожидающая всякаго, кто задумалъ-бы въ наше время написать энопею.

И однако-же, сравнивая «Войну и Миръ» съ эпическими произведеніями древности, мы ясно видимъ, что, не смотря на глубокое различие въ ихъ содержаніи и въ пріемахъ древняго и современнаго творчества, «Война и Миръ» имъетъ сходство съ упомянутыми произведеніями не только по объему изображаемой ею жизни или по богатству заключающагося въ ней художественнаго матеріала, но и сходство болъе внутреннее. «Война и Миръ» также эпически выдержана, также цізлостна и едина по своему духу, также чужда всякой фальши и художественной натяжки, какъ и гармоническія созданія старины. Изображая сложную жизнь и сложную душу людей девятнадцатаго въка. Толстой съумъль найти воззръніе, ставшее выше современныхъ раздоровъ человъческой мысли и своею правдою покорившее себъ всъ сердца, съумълъ и провести это воззръние въ своемъ творчествъ, ниразу не погръшивъ противъ требованій искусства, не издавъ ни одного художественнаго писсонанса.

Въ чемъ-же сущность этого воззрвнія? Воть вопросъ, которымъ предстонть намъ заняться въ настоящемъ очеркв, вопросъ темъ более для насъ интересный, что въ разсматриваемомъ романв мы можемъ искать уже не отрывочныхъ наблюденій и взглядовъ автора, но законченнаго и полнаго воззрвнія на жизнь. Все, что прежде говорилъ графъ Толстой своими повъстями и разсказами, всё разнообразныя и подчасъ даже противоречивыя мысли и настроенія, вызванныя въ немъ отдельными случаями жизни,—все это должно найти свое мъсто, примириться и разъясниться въ томъ соверцаніи жизни, которое открывается намъ страницами «Войны и Мира».

Первое, въ чемъ уже сказывается отношеніе нашего художника къ дъйствительности, есть та особая
манера творчества, которая характеризуеть его, какъ
несомнъннаго и послъдовательнаго реалиста. Въ
«Войнъ и Миръ», какъ и во всъхъ другихъ своихъ
произведеніяхъ, графъ Толстой прежде всего стремится къ правдъ. Изобразить дъйствительную природу, дъйствительныя возможности жизни, изобразить то, что есть, и изоъжать всегофантастическаго,
выдуманнаго, ложнаго—вотъ постоянная цъль и неизмънный принципъ его творчества. И онъ неуклонно, спокойно и безпощадно подчиняетъ этому принципу всъ возникающіе въ его душъ образы и не
пускаетъ на страницы своихъ произведеній ни од-

ного изънихъ, несогласного съправдою земной жизни. Онъ ничего не утаиваетъ изъ лъйствительности и ничего не выдумываеть, чего-бы не могло быть въ этой действительности. Показывая добро, счастье, красоту или величіе человіка, онь не забываеть туть-же отмътить и то зло, страланіе, безобразіе и ничтожность, которыя связаны съ ними роковыми законами жизни. Всъ свойства человъческой природы, послуживщія когла-либо основаніемъ илеаловъ. введены у него въ полную личность реальнаго человъка, слиты съ остальнымъ ея солержаниемъ, часто весьма непривлекательнымъ, невозможнымъ въ безукоризненномъ идеалъ и неизбъжно его разрушающимъ. Взгляните на героевъ «Войны и Мира», на тёхъ людей, которыхъ авторъ заставилъ васъ полюбить, которыхъ онъ несомнённо самъ любить: между ними нътъ ни одного безупречнаго, ни одного свободнаго отъ чертъ низменной, противоидеальной стороны человъческой природы. Пьеръ, несмотря на его доброту, на высокій полеть его думь и стремленій, своимъ слабымъ характеромъ привязанъ къ пошлой и безпорядочной жизни; Андрей Болконскій съ своимъ недюжиннымъ умомъ и благороднымъ характеромъ соединяетъ непріятную жесткость и сухость души; открытый, пылкій и честный Николай Ростовъ показанъ намъ человъкомъ ограниченнымъ; прелестная, поэтическая, жизнерадостная Наташа должна почему-то заплатить дань грубой чувственности; княжна Мари Болконская действительно безгранично самоотверженна и чиста душой, но она

такъ некрасива, неграціозна и такъ запугана... О такихъ лицахъ, какъ Долоховъ, Анатоль и Эленъ, и говорить нечего. О нихъ можно сказать развъ то, что они настолько-же не образцы зла и порока, насколько вышеупомянутыя лица не образцы добродътели. Въ Долоховъ, этомъ сильномъ и жесткомъ эгоистъ, авторъ открываетъ искреннюю и нъжную любовь къ матери; Анатоль-же и Эленъ такъ наивно и естественно развратны, что представляются какъбы совершенно невиновными и неотв'ътственными за это... Словомъ, во всемъ романъ вы не найдете блестящихъ и грандіозныхъ идеаловъ, поражающихъ воображеніе, не найдете рыцарей безъ страха н упрека, страстей пламенныхъ и неудержимыхъ, не найлете блаженства неземного, страданій сверхчеловъческихъ и тому подобныхъ иллюзій, которыми питалась поэзія романтическая. Въ этомъ отношеніи реализмъ графа Толстаго дъйствительно безпощаденъ. Въ этомъ смыслъ онъ дъйствительно можетъ быть названь отрицателемъ

Но мы глубоко-бы отполись, еслибы сказали, что духъ, разлитый въ романъ, есть вообще духъ отрицанія Не презръніемъ, не навистью, не насмъткою надъ человъческой жизнью въетъ со страницъ этого романа, но теплою любовью къ ней, признаніемъ ея могущества, ея захватывающей поэзіи. Только авторъ «Войны и Мира» любитъ дъйствительную жизнь, любитъ землю, какъ ее создалъ Богъ, съ ея относительнымъ добромъ, съ ея ограниченнымъ счастіемъ, а не тъ восторженныя и экстатическія мечты, въ

которыхъ человъкъ создалъ новые міры, новую жизнь безконечной красоты, сіяющаго счастья и непреходящаго величія. Въ своемъ ясномъ и спокойномъ созерцаніи жизни графъ Толстой не могъ не видъть призрачности и фальши этихъ аффектированныхъ вымысловъ; его не удовлетворяли слъпой павосъ и односторопняя правда романтической поэзіп; онъ не могъ забыть презпраемую ею дъйствительность, не могъ успокоиться, пока не достигалъ полной правды этой дъйствительности.

Но отрицательное отношение творчества графа Толстого къ романтическимъ идеаламъ не есть его исключительная особенность; отношение это свойственно всёмъ вообще произведениямъ истиннаго реализма, и говоря о немъ, мы не коснулись еще того особеннаго значения, которое специально принадлежитъ «Войнъ и Миру» и отличаетъ этотъ романъ отъ произведений одинаковаго съ нимъ направления.

Если мы обратимся къ неособенно длинной исторіи нашего художественнаго реализма, то увидимъ, что начался онъ у насъ отрицаніемъ и довольно долгое время съ усивхомъ развивалъ только отрицательные мотивы. Попытки создать что-либо положительное, идеальное, двлаемыя время отъ времени нашими художниками-реалистами (Гоголь, Гончаровъ), всегда встрвчали протестъ и осужденіе и со стороны критики, и со стороны общества. Да это и понятно. Мысль наша и наше эстетическое чувство слишкомъ тяготъли еще къ сферъ блестящихъ и красивыхъ идеаловъ, завъщанныхъ намъ романтиз-

момъ, чтобы мы могли найти что-нибудь доброе въ томъ презрънномъ Назаретъ, какимъ представлялась намъ наша дъйствительность.

Но если такъ было, то это не значить еще, что такъ и должно быть всегла. Хуложественный реализмъ по природъ своей не ограниченъ только отрицательной потенціей: ему нисколько не чужлы и положительныя задачи творчества. Онъ ставить хуложнику единственное условіе, чтобы его образы не противоръчили правдъ дъйствительности. Весь вопросъ. слъдовательно, въ томъ, возможно-ли илеальное въ природѣ, или иначе: способенъ-ли человѣкъ настолько полюбить действительную жизнь, настолько проникнуться ея красотою, чтобы, не украшая и не очишая ее, признать въ томъ или другомъ изъ ея проявленій удовлетворяющій его идеаль? Самый б'ялый взгляль на исторію литературы легко уб'єждаеть нась, что общаго отвъта нельзя дать на этотъ вопросъ. То или иное разръшение его обусловливается не общечеловъческимъ содержаніемъ души, но тъми своеобразными комбинаціями психологическихъ элементовъ. которыми опредъляется типъ человъка извъстной націи, культуры или исторической эпохи. Уравновъшенная натура древняго грека, умъвшаго свободно и радостно пользоваться благами жизни, способна чувствовать и удовлетворяться прекраснымь луйствительности; но суровый, аскетическій духъ среднихъ въковъ, стремящійся осуществить тъ строгіе и чистые идеалы нравственности, которые возможны только въ мысли, всегда враждебно и отрицательно относился къ дъйствительной, земной жизни. Европа позливищаго времени. Европа восемнаниатаго и невятналиатаго въка жила идеалами разума и воображенія. Это была эпоха страстной в'єры въ челов'єка. эпоха раціональнаго антропоморфизма, Человѣкъ увлекался достигнутою имъ свободою духовной жизни. увлекался открывшимися ему мыслями, чувствами и настроеніями, которыя несли ему то наслажденіе, то страданіе, и подчиняясь этимъ субъективнымъ увлеченіямъ, невольно идеализировалъ ихъ внутренніе источники. Выразительницей этихъ-то увлеченій и явилась романтическая поэзія. Служа отголоскомъ личной жизни, она ставила себъ только одно требованіе-искренность творчества, правду аффекта, какъ поэтическаго стимула, и затёмъ въ этихъ предёлахъ покорно отдавалась прихотливой игръ субъективныхъ настроеній. Она идеализировала всѣ силы и способности духа, дававшія содержаніе жизни челов'єка въ ея эпоху, идеализировала не за ихъ добро или внутреннее достоинство, но потому, что человъкъ жилъ и увлекался ими, да потому еще, что логика и воображеніе-ея постоянныя орудія-давали возможность къ этому. Дъйствительно, что такое эти Фаусты, Вертеры, Донъ-Жуаны, Манфреды и Чайльдъ-Гарольды, Симурдены и Торквемады, какъ не идеализированныя возможности духа; и почему они-идеалы, какъ не потому только, что поэтическая фантазія съумъла найти грандіозные образы для пережитыхъ человъчествомъ состояній сомнінія, неудовлетворенности, разочарованія, фанатизма и т. п.? Отнимите у нихъ это величіе, столь дъйствующее на воображеніе, разрушьте абстрактную чистоту образовъ уменьшите ихъ размѣры, и вы лишите ихъ всякаго обаянія, такъ какъ оно закръплено за ними исключительно ихъ эстетическимъ достоинствомъ. А между тъмъ, вы нолжны это сдълать, если хотите быть върными природъ. Романтические образы не умъшаются въ лёйствительности: это типы другого міра, извлеченнаго, правда, изъ той-же дъйствительности, но очишеннаго и преображеннаго поэтическимъ идеализмомъ. Понятно теперь, почему реализмъ, явившійся какъ-бы литературнымъ преемникомъ романтизма, должень быль отнестись къ нему отрицательно. Поэты-романтики не изображали ибиствительную жизнь, но создавали блестящую мечту жизни, въ которую страстно хотёли уйти изъ бёлной лёйствительности. Реализмъ, стремящійся прежде всего къ правив, не могъ не отвергнуть эти красивые образы въ силу ихъ призрачности, ихъ недъйствительности.

Но съ чѣмъ-же останся самъ реализмъ, отвергнувшій прежніе идеалы? Чѣмъ онъ жилъ? Какъ онъ относился къ дѣйствительности?

Ограничивая наши вопросы сферою русской литературы (потому, во-первыхъ, что въ русскихъ произведеніяхъ реализмъ нашелъ наиболъе художественное выраженіе, и потому, во-вторыхъ, что мы не можемъ далеко отклоняться отъ нашей главной задачи), мы должны сказать, что, по справедливому замъчанію Ап. Григорьева, въ первомъ изъ нашихъ художниковъ-реалистовъ — въ Пушкинъ — уже сказался поворотъ поэтического міросозерцанія. Пушкинъ уже можетъ любить дъйствительную жизнь. можеть поэтизировать скромныя картины родной природы, скромныхъ и простыхъ людей своей страны. Но ръшить вопросъ объ основаніяхь этой любви, о сопержаніи новаго идеала по произведеніямъ Пушкина было-бы затруднительно. Тутъ-то и является передъ нами другой реалисть съ своей великой эпопеей. Графъ Л. Н. Толстой не безразлично изображаеть лъйствительность. «Война и Миръ» не есть сплошное отрипание или сплошная идеализація жизни. Что-то такое раздъляеть эту жизнь, опредъляеть ваши чувства къ ней, властно заставляетъ васъ любить одно, презирать другое, сожальть о третье мъ Вы не можете не любить Натапу, Пьера, Андрея. Болконскаго, княжну Марыю, стараго графа Ростова, даже Денисова, вы не можете полюбить Берга, Бориса Друбенкого, Анну Михайловну, Долохова, вы не можете не презирать Эленъ, Ипполита и Анатоля Курагиныхъ. Что-же руководитъ авторомъ въ его различныхъ отношеніяхъ къ жизни? Какимъ созерцаніемъ создана «Война и Миръ?» Мы сказали уже выше, что образы «Войны и Мира» не подкупаютъ нашего воображенія своимъ величіемъ или чистотою, что герон разсматриваемаго романа далеко не безупречны. Слъдовательно, если мы все-таки симпатизируемъ нѣкоторымъ изъ нихъ, то единственно только за тъ лостоинства человъка, которыхъ нельзя не любить. Авторъ въритъ въ существованіе въчнаго и

пазсъяніи свътской жизни, его надежду удовлетвориться невысказанной, нераздёденной любовью къ Наташъ, его обращение къ подвигу самопожертвованія, когла для спасеніи Россіп онъ задумаль убить Наполеона. Исканія эти не дали ему желаемаго успокоенія и «согласія съ самимъ собою», обманули его. И только попавъ въ пленъ къ французамъ, только пройдя черезъ ужасъ смерти и всевозможныя лишенія, онъ получиль наконець внутреннее спокойствіе и довольство жизнью. Учителемъ, открывшимъ ему новый путь къ счастью, быль товарищь его по плъну, нищій и простой солдать, Платонъ Каратаевьэта одицетворенная стихія русскаго народнаго духа. Переживъ и переработавъ то, что открылось ему въ Каратаевъ. Пьеръ понялъ смыслъ и радость жизни. «Отсутствіе страданій, удовлетвореніе потребностей и всявдствіе того свобода выбора занятій, т. е. образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненнымъ и высшимъ счастьемъ человъка»... «То самое, чъмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цъли жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цъль жизни теперь не случайно не существовала для него только въ настоящую минуту, но онъ чувствоваль, что ен нътъ и не можеть быть. И это-то отсутствіе ціли давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье». «Онъ не умълъ видъть прежде великаго, непостижимаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ только чувствоваль, что оно должно быть гдв-то, и искаль его. Во всемъ близкомъ, понятномъ, онъ видълъ одно

ограниченное, медкое, житейское, безсмысленное. Онъ вооружался умственной зрительной трубой и смотрыль въ даль, туда, глъ это медкое житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему великимъ и безконечнымъ оттого только, что оно было неясно вилимо. Такимъ ему представлялась европейская жизнь, политика. масонство, философія, филантропія. Но п тогда, въ ть минуты, которыя онь считаль своей слабостью. умъ проникалъ и въ эту даль, и тамъ онъ видълъ тоже мелкое, житейское, безсмысленное. Теперь-же онъ выучился видъть великое, въчное и безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы видъть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемь, онь бросиль трубу, въ которую смотрёль до сихъ поръ черезъ головы людей, и радостно созерцаль вокругь себя въчно измъняющуюся, въчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чёмъ ближе онъ смотрёль. тъмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ».

Вотъ въ чемъ состоялъ великій переворотъ, совершившійся въ душѣ Пьера, и вотъ та высшая точка, съ которой авторъ романа созерцаетъ человъческую жизнь. Это созерцаніе его называютъ нерѣдко фатализмомъ, поклоненіемъ слѣпымъ силамъ природы, полнымъ санкціонированіемъ дѣйствительности... Не вступая здѣсь въ споръ о словахъ, можно согласиться, пожалуй, что міросозерцаніе графа Толстого проникнуто фатализмомъ и поклоненіемъ природѣ—въ томъ смыслѣ, что, образовавъ душу человѣка, она предопредѣлила для него всѣ возможности счастья и что другого счастья, кромѣ дарованнаго

ему природой, человъкъ не можетъ достигнуть, несмотря на свой свободный умъ и дъятельную волю. Но если человъкъ не можетъ выдумать себъ новаго счастья, то освоболившись черезъ сознаніе отъ власти природы, онъ имъетъ полную возможпогубить данное ему счастье. Какъ есть одинь только моменть равнов'єсія, такъ возможно одно только положеніе челов'єка въ природ'є, при которомъ существование его становится гармоническимъ, при которомъ онъ можетъ быть счастливъ. Кажлому человъку положение это указываеть внутренній голось живущей въ немъ природы, голось сов'ьсти, выражающійся въ тёхъ состояніяхъ тревоги и спокойствія, которыми сопровождается каждое сознательное его дъйствіе: но подчиниться этому голосу съ тъхъ поръ, какъ освоболившійся духъ человъка создаль цёлый мірь произвольныхъ цёлей и нормъ дъйствія, - подчиниться сознательно и добровольно этой разрушенной власти природы сиблалось необыкновенно трудно, и человъкъ началъ свое историческое блужденіе вокругъ закрывшейся для него правды жизни и недоступнаго ему счастья. Все это глубоко поняль авторъ «Войны и Мира»; эта идея составляеть органическую часть его міросозерцанія, и потому никакъ нельзя сказать, чтобы онъ безразлично санкціонироваль все содержаніе дъйствительности. Мы уже вильли, въ какомъ различномъ освъщении представляеть онь различныя возможности жизни, и какъ неодинаково заставляеть насъ относиться къ изображаемымъ имъ лицамъ. Всъ эти лица съ точки зрънія указанной идеи могуть быть распредёлены по тремъ группамъ. Къ первой относятся люди, навно оторвавшіеся отъ природы и до того ушедшіе въ свои искусственныя цёли, что имъ некогда прислушаться къ голосу своей совъсти, что они не хотять его слышать и всячески стараются заглушить его шумомъ и внъшнимъ движеніемъ жизни. Сами они не всегда, правда, страдають, зато жизнь ихъ сплошная ложь и пустота. Сюда принадлежить прежде всего Наполеонъ въ которомъ противоестественное и противочеловъческое стремление достигло высочайшаго своего напряженія и въ которомъ нашъ авторъ видитъ глубокое помрачение ума и совъсти, --его свита, его генералитеть; сюда-же входить и высшее петербургское общество, салоны т-те Шереръ и Эленъ съ ихъ аббатами, посланниками, эмигрантами, княземъ Василіемъ, Анатолемъ, Друбецкимъ и т. п. Вторую группу образують лица тогоже склада жизни, того-же положенія, что и первые, съ тою однако существенною разницею, что они глубоко недовольны своимъ положеніемъ, что они слышать протестующій голось своей души и мучительно ищутъ выхода къ правдъ. Это — Пьеръ и Андрей Болконскій, это какъ-бы звено между первой и третьей группой, какъ-бы формирующійся потокъ, которымъ первая можетъ перелиться въ цослъднюю, вполнъ покорную власти природы и состоящую изъ тъхъ солдать, которые сражались за свою родину подъ Бородинымъ, — изъ Платона Каратаева и другихъ лицъ огромной крестьянской массы. Къ этому\_ же разряду лицъ сталъ принадлежать и Пьеръ послъ того, какъ открылся ему новый смыслъ жизни. Пьеръ тъйствительно нашелъ свое счастье, женившись на Наташъ и основавъ себъ семью. Его семейная жизнь не отличалась какимъ либо особымъ изяществомъ. поэтичностью отношеній между мужемъ и женой; это была обыкновенная семья со всёми ея естественными принадлежностями-съ дъторождениемъ, кормленіемъ дѣтей и хлопотливымъ уходомъ за ними, съ опустившеюся и погруженную въ тысячу мелкихъ и прозаическихъ заботъ женою-матерью, съ привычною и необходимою любовью другь къ другу. Такая семья можеть дать счастье человъку, говорить авторъ, такъ какъ видитъ въ ней одно изъ проявленій той правды жизни, которая составляеть сущность его илеала.

До сихъ поръ мы говорили только о миръ и о жизни обычной. Но авторъ эпопеи показалъ намъ и событія другого порядка, другихъ размъровъ, событія историческаго значенія. Какою же внутреннею связью соединены эти изображенія различныхъ порядковъ жизни, зачъмъ понадобилось автору для раскрытія своего міросозерцанія коснуться исключительныхъ событій исторіи? Отвътомъ можетъ служить только указанная идея о томъ, что великое, въчное жизни, способное удовлетворить человъка, существуетъ не въ дати гдъ-нибудь, не въ тайнахъ грандіозныхъ событій, но вездъ и во всемъ. Чтобы убъдиться въ этомъ, нужно было взять изъ человъческой жизни что-либо несомнънно великое, несомнънно героическое и показать,

что и тамъ лъйствуетъ тотъ-же обыкновенный человъкъ, что и оно состоить изъ моментовъ столь-же простыхъ и свойственныхъ человъку, какъ и обычныя его положенія, что и оно покорно общимъ и неизмъннымъ законамъ человъческой жизнии счастья. Авторъ такъ и слъдалъ. Едвали во всей нашей исторін есть факть крупнье отечественной войны 1812 г. Въ своей эпопев графъ Толстой и даетъ намъ хуложественное воспроизведение этого факта, представляеть его въ спенахъ и лицахъ, и лица эти не перестають быть у него тёми же обыкновенными люльми, какихъ показывалъ онъ намъ во время мира. Тъ же простые солдаты, тъ-же офицеры и генерады, тотъ-же Ростовъ, Денисовъ, Болконскій, Тимохинъ. Но всъ эти обыкновенные люди, въ то-же время, несомнънные герои, такъ какъ дъло, совершонное ими, - дъйствительно великое дъло.

Истинное добро и высшія блага жизни— не въ исключительныхъ, блестящихъ и грандіозныхъ ея проявленіяхъ, но—въ скромномъ и простомъ счастьи, основанномъ на удовлетвореніи естественныхъ, общечеловъческихъ потребностей. Истинный героизмъ не нуждается въ красотъ формы и виъшнемъ величіи,—онъ возможенъ и въ обыкновенномъ человъкъ, какъ бы онъ ни былъ малъ и простъ, какъ бы онъ ни былъ даже комиченъ... Вотъ къ какому выводу привело графа Толстого его безстрашно-правдивое созерцаніе жизни. Онъ не побоялся сочетать героическое съ комическимъ и ихъ эстетическій антагонизмъ стремился примирить въ томъ мужественномъ

и глубокомъ чувствъ, которое умъетъ цънить добро и нравственную красоту ради ихъ собственнаго достоинства и не смотря на неизбъжную примъсь кънимъ чертъ обычной человъческой мелочности и ограниченности.

Событіямъ войны посвящено еще въ романѣ довольно много страницъ историко-философскаго содержанія. Но мы не будемъ на нихъ останавливаться, потому, во-первыхъ, что между художественымъ содержаніемъ романа и философскими взглядами автора нѣтъ органической связи, и во-вторыхъ потому, что настоящій очеркъ нашъ отнюдь не протендуетъ на полноту критической оцѣнки романа. Полная критика «Войны и Мира» есть крупная задача и потребовала-бы весьма обширной работы. Въ настоящемъ-же очеркѣ мы имѣли въ виду показать только основныя черты того созерцанія жизни, которое выразилось въ «Войнѣ и Мирѣ».

## VIII.

## "Анна Карепина".

Какъ и все, что вышло изъ подъ пера графа Л. Н. Толстого, романъ «Анна Каренина» отличается полною самостоятельностью творческихъ мотивовъ и очевилнымъ преобладаниемъ интереса къ въчному и общечеловъческому надъ временнымъ и случайнымъ. Несмотря на то, что романъ этотъ писался во время всеобщаго почти увлеченія соціальными вопросами и совершавшимися тогда политическими событіями, онъ слегка лишь касается этихъ--уже минувшихъ-злобъ дня и развиваетъ иную тему, чуждую этимъ злобамъ и отвъчающую только «любимымъ думамъ» самого автора. Въ глазахъ критики того времени, это было неизвинимымъ недостаткомъ. Словно пораженная слепотой, критика эта ничего не способна была увидъть въ романъ, кромъ «великосвътскихъ амуровъ» и «самодурства барской праздности»... Но не прошло еще и десяти лътъ, а эти мнънія критики давно уже забыты и покоются гдф-то въ пыли журнальныхъ архивовъ, тогда какъ «любимыя думы»

автора, получившія въ романѣ свое художественное выраженіе, пріобрѣтаютъ все большій и большій интересъ, все больше и больше выростаютъ въ своемъ значеніи. Онѣ проникли уже въ мысли и сердце читателя и вызвали въ немъ то состояніе эстетическаго восторга, которымъ человѣкъ не разучился еще отвѣчать на явленія истины и красоты. Такимъ восторгомъ переполнена, напримѣръ, критическая статья покойнаго М. С. Громеки, написанная съ серьезнымъ отношеніемъ къ предмету и съ рѣдкою въ наше время широтою взгляда.

«Анна Каренина» — уже не то безбрежное море жизни, которое открывается намъ въ «Войнъ и Миръ»; это уже не народная эпопея, но болье привычное намъ литературное произведение съ ограниченною сферою изображенія, съ опредёленнымъ кругомъ лицъ. съ определеннымъ и сконцентрированнымъ действіемъ. Впрочемъ, все это можно сказать только по спавненію съ «Войною и Миромъ»; при сопоставленіи же съ другими романами «Анна Каренина» является произведениемъ выдающимся по богатству и разнообразію содержанія, по множеству выведенныхъ лицъ, по обилію эпизодическихъ сценъ и картинъ. Даже д'яйствіе въ «Анн'я Карениной» тягот'я не къ одному центру, но развивается двумя параллельными и почти самостоятельными фабулами. Несмотря на это, романъ не производитъ двойственнаго впечатлънія, не кажется искусственнымъ соединеніемъ двухъ различныхъ и ненужныхъ другъ другу инцидентовъ человъческой жизни. Вы чувствуете въ немъ какоето глубокое внутреннее единство, вполнъ удовлетворяющее васъ, и самую раздвоенность фабулы замъчаете только изъ внъшняго анализа романа, только путемъ логическихъ умозаключеній. Почему это? Что придаетъ роману это непосредственно сознаваемое въ немъ единство?

Выше мы имъли уже случай замътить, что во всъхъ произведеніяхъ своихъ гр. Толстой старался постигнуть законы человъческой жизни, что имъ неотступно руководилъ интересъ раскрыть судьбу человъка, уловить лъйствительныя возможности и необходимости его земного жребія. Въ разсматриваемомъ романъ авторъ остался въренъ тому же интересу, но здёсь онъ глубже чёмъ когда-либо заглянулъ въ тайны человъческой судьбы и ярче чъмъ гдъ-либо представиль зависимость человъческого счастья отъ въчныхъ и непреодолимыхъ законовъ природы. Своимъ романомъ онъ словно открылъ передъ нами окно, черезъ которое мы увидали таинственный міръ силь, управляющихъ жизнью, увидали нъчто неизмънное и безконечное, проявляющееся въ конкретныхъ и какъ-бы случайныхъ событіяхъ, увидали природу-судьбу, природу-Немезиду съ ея грознымъ закономъ: «Мнъ отмщеніе, и Азъ воздамъ!». Читая романъ, мы чувствуемъ присутствіе этихъ въчныхъ и роковыхъ силъ жизни, чувствуемъ, какъ, подчиняясь имъ, складывается его дъйствіе, —и вотъ эта-то властная, всемогущая рука судьбы, ведущая человъка, этотъ скрытый, но несомнънный дъятель романа и придаеть ему то внутреннее единство, которое застав-

ляетъ насъ видъть во всъхъ персонажахъ его-брошеннаго на землю и покорнаго ея власти человъка. а во всёхъ положеніяхъ и коллизіяхъ — прелопредъленныя возможности и необходимости человъческой жизни. Но то великое и въчное, что показываетъ намъ графъ Толстой, не есть слъпая судьба, или рокъ древнихъ; таинственныя Парки прядутъ у современнаго художника не жизненныя нити каждой конкретной личности, но нити общихъ, абстрактныхъ законовъ, опутывающихъ жизнь человъческую и неизмънно примъняющихся относительно всякаго человъка. Древніе представляли судьбу человъка, какт необходимый для него рядъ непостижимыхъ случайностей; въ изображении нашего художника, судьбаслучайно наступившій рядь необходимостей. Эдинь убилъ отца и женился на матери, потому что ему именно это было предопредълено, потому что отъ судьбы своей не уйдешь; Анна Каренина могла не погибнуть, могла-бы прожить если не счастливо, то спокойно; но отдавшись своей страсти и пожертвовавъ для нея всемъ, она должна была погибнуть.

Анна Аркадьевна Облонская молоденькой дѣвушкой выдана была замужъ за Алексѣя Александровича Каренина. Живое, личное чувство не играло никакой роли въ этомъ супружествѣ. Тетка выдала Анну за Каренина, находя почему-то эту партію выгодною. Восемь лѣтъ прожила Анна съ своимъ мужемъ, прожила мирно, спокойно, однообразно, дѣля свое время между свѣтскими удовольствіями и заботами о сынѣ. Полная силъ, молодая, красивая,

жаждущая еще неизвъданнаго ею счастья, Анна не могла быть удовлетворена тою жизнью, которую даваль ей мужъ — этоть умный и безукоризненно честный, но сухой педанть, убившій въ себъ всякое чувство и автоматически-правильно движущійся въ жизни подъ дійствіемъ исключительно умственнаго механизма идей, сознанныхъ обязанностей и задачъ. Не разразись драма, Анна моглабы завянуть и засохнуть въ этой жизни. И это былабы жертва, и это было бы возмездіе судьбы-обидная жертва молодого счастья въ угоду какимъ-то постороннимъ, фальшивымъ разсчетамъ, возмездіе за произвольное нарушение естественныхъ правъ и стремленій человѣческой природы... Но случай сулилъ иное. Дорогою изъ Петербурга въ Москву Анна встрътилась съ молодымъ, красивымъ офицеромъ, графомъ Вронскимъ. Вотъ какъ описываетъ авторъ эту первую встръчу. «Блестящіе, казавшіеся темными отъ густыхъ ръсницъ, сърые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лицъ, какъ будто она признавала его, и тотчасъ-же перенеслись на проходящую толпу, какъ-бы ища кого-то. Въ этомъ короткомъ взглядъ Вронскій успълъ замътнть сдержанную оживленность, которая играла въ ея лицъ и порхала между блестящими глазами и чуть замътной улыбкою, изгибавшею ея румяныя губы. Какъ будто избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескъ взгляда, то въ улыбкъ. Электрическая искра страсти уже передалась этимъ взглядомъ изъ души Карениной въ

душу Вронскаго, и несознанныя еще узы взаимнаго чувства уже связали ихъ. Они уже ищутъ другъ друга, уже необходимы одинь для другого. Еще двъ-три встръчи — и господство страсти надъ ними уже обезпечено. Прівхавъ въ Петербургъ къ мужу, Анна чувствуеть, что прежняя жизнь не можеть ее удовлетворить, чувствуеть пустоту и скуку. Свътская жизнь позволяеть ей продолжать начавщіяся отношенія съ Вронскимъ, и страсть ихъ гигантскими шагами идеть къ развязкъ. Но не радость принесло это чувство Аннъ. Оно сталкивалось со всёмъ строемъ ея прежней жизни и колдизія эта была непримирима: что-нибудь должно было погибнуть. Положение между мужемъ и любовникомъ, съ необходимымъ обманомъ, съ презрвніемъ къ себъ, глу боко возмущало искреннюю и чистую натуру Анны. Случай ускориль объясненіе. На скачкахъ въ Царскомъ Селъ Вронскій упаль съ лошади. Анна съ мужемъ сидъла въ бесъдкъ. Страхъ за любимаго человъка выдаль ее, и, возвращаясь домой въ каретъ, она во всемъ призналась мужу. Со стороны его не послъдовало ни сцены ревности, ни вспышки оскорбленнаго чувства; онъ позаботился только о приличіяхъ, о мнъніи свъта, и желаль, чтобы все оставалось по-прежнему. Мучительное состояние продолжалось. Мучились всё трое, и каждый по своему надъялся, что скоро все измънится. Но любовь къ сыну и какой-то непреодолимый страхъ стать открыто въ положение любовницы мъшали Аннъ согласиться на окончательный разрывь съ мужемъ, чего такъ сильно

хотълъ Вронскій. Побужлаемый желаніемъ возстановить во мижній общества честь своего имени и вижстѣ съ тѣмъ отмстить своей женъ за весь позоръ и за причиненныя ему страданія, Алексей Алексанпровичь также искаль исхода изъ своего положенія и нашелъ его въ разводъ, ръшивъ отнять сына у матери. Но тутъ произошло событіе, перемъщавшее на время всв отношенія. Анна родила и послв родовъ сильно заболёла. Вронскій (отецъ новорожденнаго) сидълъ у ея постели. Прівхаль Алексъй Александровичь. И воть между этими тремя людьми, связанными сложными отношеніями любви, ненависти и презрѣнія, произошла поразительная сцена взаимнаго прощенія и примиренія. Алексъй Александровичъ простиль искренно. Этоть сухой, жесткій человікь простиль жену и жалбль ее за ея странанія и раскаяніе, простиль Вронскому, чувствоваль себя совершенно спокойнымъ «и не вилълъ въ своемъ положеніи ничего необыкновеннаго, ничего такого, что-бы нужно было измѣнять». Онъ рѣшилъ не разлучаться съ женою. Но прошло пва мѣсяна, и вмѣстѣ съ возвращеніемъ силъ вернулась къ Аннъ и прежняя страсть къ Вронскому, и прежнее отвращение къ мужу. Что-то роковое вошло въ эту жизнь и, противъ воли участвующихъ въ ней лицъ, влекло ихъ къ неизбъжной, фатальной развязкъ. Развязка поджна было наступить, но развязать положение такъ, чтобы всъ были спокойны и счастливы, чтобы не было страдающихъ, не было жертвы, сдълалось уже невозможнымъ. Нравственный законъ жизни уже быль нарушень и наступали

трагическія послідствія этого нарушенія. Алексій Александровичь соглашался, правда, на разводъ, соглашался лаже отлать сына и принять на себя вину въ бракоразволномъ процессъ, но воспользоваться этимъ великолушіемъ мужа, обрушить всю тяжесть и весь позоръ положенія на голову ни въ чемъ невиновнаго человъка-это было невозможно иля той гордости и деликатности, которыми была надълена Анна. Разволъ безъ сына также не могъ уловлетворить ее. Жить въ разлукъ было невыносимо иля Вронскаго и для Анны. Выбрали компромиссъ: «Алексъй Александровичъ остался одинъ съ сыномъ на своей квартиръ, а Анна съ Вронскимъ уъхала заграницу, не получивъ развода и рѣшительно отказавшись отъ него». Прібхавъ въ Италію. Анна чувствовала себя первое время «непростительно счастливою и полною радости жизни». Она упивалась своею свободою и своею страстью. Но долго жить одною страстью человъкъ не можетъ. Анна же съ Вронскимъ со всёмъ порвали и цёликомъ ушли въ свое чувство. Скоро имъ показалось скучно и пусто въ итальянскомъ городъ и они ръшили ъхать въ Россію. Въ Петербургъ имъ открылась новая сторона ихъ положенія: свъть быль закрыть для нихъ. Свъть готовъ быль принять Вронскаго, но не допускаль возможности впустить въ свой кругъ Анну. Для Вронскаго это было и оскорбленіемъ, и серьезнымъ лишеніемъ. Чтото уже поднималось между нимъ и Анной. Отвергнутая обществомъ, разлученная съ любимымъ сыномъ, Анна чувствовала, что единственная опора ея,

единственная возможность для нея жизни—въ любви Вронскаго, и въ то-же время ужасная мысль о возможности потери этой любви уже проносилась передъ нею...

Наконецъ, они убхали въ деревню. Въ деревнъ они забыли обиду, нанесенную имъ свътомъ, и Вронскій нашель даже нэкоторое удовлетвореніе своему честолюбію въ той роди крупнаго землевладёльца и земскаго дъятеля, которая открылась ему въ утветь. Въ домъ же у себя имъ все какъ-то не удавалось установить вполнъ семейный тонъ жизни. Что-то холодное и безличное чувствовалось въ окружающей ихъ роскоши, что-то невозможное въ семейномъ быту проскальзывало въ отношеніяхъ къ Аннт ихъ исключительно мужского общества. Анна не входила сама въ хозяйство, не много времени отдавала дочери и систематически занималась собой, хватаясь за свою красоту, какъ за единственное средство сохранить для себя необходимую ей любовь Вронскаго. Естественно и незамътно пришла она къ циническому ръшенію не имъть больше дътей, рождение которыхъ должно было сдълать ее непривлекательною для Вронскаго. Кромъ того, у Анны было еще одно мученіе — невозможность имъть при себъ сына, невозможность соединить въ своей жизни тъ два существа, безъ которыхъ она не могла быть счастлива. Вронскій, столь многимъ уже пожертвовавшій съ своей точки зрѣнія для Анны, хотыть вознаградить себя новыми отношеніями съ людьми, новыми удовольствіями; обладан Анной, онъ стремился расширить сферу своей жизни. Анна-же, дышавшая только его любовью, во всёхъ новыхъзнакомствахъ, планахъ и предпріятіяхъ своего Алексъя видъла только личныхъ враговъ, отнимаюшихъ его у нея. Она томилась и страдала самыми мрачными подозрвніями во время его отсутствія, выдумывала способы, какъ-бы поскоръй вернуть его, осыпала его упреками при возвращении, устраивала сцены ревности. Отказавшись прежде отъ развода, теперь она уступила убъжденіямъ Вронскаго и послала мужу письмо съ просьбой о разводъ. Въ ожиданіи отвъта, они прівхали въ Москву. Но перемъна мъста не исправила дъла. Анна хотъла невозможнаго. Она желала безконечнаго продолженія того блаженства, того упоенія, которое страсть давала ей прежде. Весь смысль, все счастье жизни сосредоточились для нея въ этой страсти. Но страсть, та чувственная, самолюбивая страсть, которую Анна питала къ Вронскому, неспособна выдержать тяжести жизни, въ особенности той жизни, какой требовала гордая и богато-одаренная натура Анны. Это зданіе, построенное вопреки всёмъ законамъ природы, этотъ роскошный дворецъ, возведенный на песчаномъ фундаментъ, неизбежно долженъ былъ развалиться, - и жизнь Анны развалилась дъйствительно.

Съ изумительнымъ мастерствомъ и глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца изображаетъ авторъ ту душевную драму, тотъ процессъ все возростающаго отчаннія, которымъ подтачивалась жизнь Анны. Жизнь эта уже вполнѣ опредѣлилась. Наступало время неотвратимыхъ, роковыхъ послѣдствій давно

пережитаго прошлаго. Ничего не совершилось новаго, не произошло никакихъ внёшнихъ перемёнъ, но ревнивая любовь Анны всюду создавала фантомы опасностей, во всемъ вилъла страшные признаки охлажденія къ ней Вронскаго. Съ свойственною отчаявшейся любви жестокостью, она старалась мучительными сценами дотронуться до чувствительнаго мъста въ его душъ, прозондировать эту душу, и изъ вспышекъ того раздраженія и пробивающагося озлобленія противъ нея, которыми онъ, случалось, отвъчалъ на ел сцены, она все болёе и болёе убъждалась, что любовь его къ ней исчезаетъ. Обыкновенно каждая размолвка ихъ кончалась примиреніемъ. Но однажды, выведенный изъ терпънія безпричинною и ръзко-враждебною выходкой Анны, Вронскій убхаль, не сказавъ того слова любви, котораго она отъ него хотёла. Отчаяніе и какой-то непонятный страхъ охватили Анну. Она заметалась, чтобы вернуть его. Но записка ея не застала Вронскаго, на телеграмму же получился короткій отвътъ, что раньше десяти часовъ онъ вернуться не можеть. Все показалось погибшимъ для Анны въ этомъ равнодушномъ отвътъ телеграммы. и смерть представилось ей единственнымъ исходомъ и подходящимъ средствомъ отомстить Вронскому... На нее нашло какое-то холодное ясновилъніе, когла она тхала на вокзаль, чтобы еще разъ повидать его. «Моя любовь все дёлается страстнёе и себялюбивее, а его гаснетъ и гаснетъ, и вотъ отчего мы расходимся», продолжала думать она. «И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ

весь больше и больше отдавался мить. А онть все больше и больше хочеть уйти отъ меня. Мы именно шди навстрти до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измънить этого нельзя». Получивъ на станціи записку Вронскаго, показавшуюся ей небрежною и холодною, Анна почувствовала, что все для нея кончено. Какая-то непреодолимая, слтана сила овладтла ею и повела ее на смерть. «Туда! говорила она себт, глядя въ ттыв вагона, на смъшанный съ углемъ песокъ, которымъ были засыпаны шпалы,— туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь отъ вста и отъ себя». И она умерла ужасною смертью самоубійцы.

Въ трагической кончинъ Анны многіе у насъ увидъли кару, которой авторъ подвергъ свою героиню за измъну супружескому долгу, и согласно такому взгляду весь романь объявили проповёдью узкой моралистической идеи. Близорукій взглядъ! Это значитьне видъть ничего дальше поверхности, дальше внъшняго дъйствія, дальше тъхъ квалификацій, которыя авторъ даеть своимъ персонажамъ, говоря: это-мужъ, это-жена, это-любовникъ и т. д. Концепція романа несравненно глубже. Творчество графа Толстого чуждо какого-бы то ни было условнаго кодекса; оно опирается не на доктрины и системы, но на самую природу вещей. Всматриваясь въ духовный міръ человъка, слъдя за нимъ на путяхъ открытаго ему счастья, авторъ «Анны Карениной» поняль, что этотъ міръ — не міръ произвола, что счастье человіка, сложнъйшій и хрупкій продукть многихь необходимыхъ условій. Онъ понялъ существованіе вічныхъ, неотмёнимыхъ волею человёка, законовъ нравственнаго міра, поняль, какая трупная запача дана каждому — пронести, подъ дъйствіемъ этихъ законовъ жизни, чашу своего счастья. Онъ видълъ, какъ часто человъкъ расплескиваетъ и разбиваетъ эту драгоцънную чашу, какъ дегкомысленно пренебрегаеть указаніями сов'єсти, этого непогр'єшимаго компаса, вложеннаго природою въ его душу, съ какою слёпотой гонится за призраками счастья, съ какимъ озлобленіемъ и гордостью сознательно отказывается отъ правъ своего человъческаго «первородства» изъ-за «чечевичной похлебки» минутныхъ наслажденій. Онъ видёль много блуждающихъ, безсильно-борюшихся и падающихъ — и онъ показалъ намъ гибель молодой и прекрасной жизни, вызванную нарушеніемъ законовъ объемлющей насъ природы. той природы, которая ничего не прощаеть, ничего не забываеть, а спокойно и безстрастно совершаеть расправу возмездія.

Произвольно и компчно было-бы навязывать природѣ законъ, воспрещающій женѣ бросать своего мужа, но мы чувствуемъ глубокую правду словъ автора, когда онъ говоритъ намъ, что человѣкъ, опустошившій свою душу и опершійся въ своей жизни единственно на себялюбивое наслажденіе, губитъ свое счастье. Анна погибла не потому, что оставила мужа, но потому, что въ предстоявшемъ ей выборѣ она взяла страсть, исключающую для нея возможность удовлетворенія болѣе спокойныхъ и прочныхъ при-

вязанностей. Отдавшись страсти, она должна была отказаться отъ всёхъ прочихъ источниковъ счастья. А жить одною чувственною страстью невозможно уже потому, что такая страсть долго длиться не можеть.

Не все, однако, на землъ слезы и страданія, не все трагедія. Встръчается и тихая улыбка счастья, и радость, возможна на землъ и идиллія. Загляните въ Покровское, деревню Левина, и вы увидите несомитную идиллію. Увидите тихую и скромную семейную жизнь, почувствуете атмосферу любви, окружающую обитателей этого мирнаго уголка. Но и эта жизнь сложилась не сразу, не безъ борьбы и не безъ страданій. Съ перваго появленія Левина въ романъ, мы уже знаемъ, что онъ любитъ хорошенькую и граціозную Кити Щербацкую и съ первыхъже почти словъ его съ нею мы уже предчувствуемъ готовую обрушиться на него неудачу. Какъ ни симпатично относилась молодая дівушка къ простому, искреннему и умному Левину, но воображение ея уже усивло плъниться блестящимъ Вронскимъ, и она отказала сдълавшему ей предложение Левину. Печально вернулся онъ въ свою деревню и вошель въ свою одинокую и показавшуюся ему ненужною жизнь. Между тъмъ страсть Вронскаго къ Карениной, круто повернувшая его жизнь, задъла также и Кити. Обманутая въ своихъ надеждахъ, оскорбленная въ своемъ чувствъ, Кити серьезно заболъла. Только переживъ первое свое горе и выросши въ немъ душою, Кити поняла Левина и съ грустью думала о томъ

горъ, которое она причинила ему. Вскоръ послъ своего выздоровленія, она встр'єтилась съ Левинымъ у Степана Аркадьевича Облонскаго. Встрвча эта рвшила ихъ судьбу. Левинъ понялъ, что по-прежнему любитъ ее, она почувствовала, что онъ имбеть для нея исключительное значеніе любимаго человъка... Они сдълались мужемъ и женой. Послъ свадьбы молодые супруги убхали въ деревню, и тутъ-то началась для нихъ счастливая идиллія. Въ изображеніи ихъ семейнаго счастья графъ Толстой остается, какъ и всегда, художникомъ-реалистомъ. Онъ ни на минуту не покидаеть земли, никогда не переходить за черту возможнаго, никогда не забываеть особенностей русскаго быта. Не сказочное счастье показываеть онъ намъ, но тихую и простую жизнь со всею правдою здоровой, чистой любви, мелкихъ радостей и тревогъ, со всѣмъ ея колоритомъ обыденности, со всѣми естественными послъдствіями брака, каковы-рожденіе дътей, новыя заботы о нихъ, новыя чувства и привязанности. Но въ этомъ мелкомъ и обыденномъ графъ Толстой умъетъ показать великое и важное для человъка. Въ его изображеніи семья представляется тёмъ положеніемъ въ жизни, которое дёйствительно отвъчаетъ природъ человъка и въ которомъ онъ можетъ быть спокоенъ и счастливъ. Такова семья Николая Ростова, Пьера Безухова, такова семья и Левина.

Но исторія Левина этимъ не кончается. Ищущій отвѣта на вопросы жизни Пьеръ Безуховъ останавливается на семьѣ, удовлетворяется ею и въ ней

исчезаетъ. Левинъ именно изъ семьи возникаетъ передъ нами во всемъ своемъ значении и поднимаетъ свой вопросъ именно съ того мѣста, гдѣ кончился онъ для Пьера.

Счастье Левина не безоблачно. У него своя драма, своя Немезида. Драма эта связываеть личность Левина съ процессомъ умственнаго развитія человъчества и потому представляеть глубокій общественный интересъ. Левинъ принесъ въ своей личности живую человъческую душу, ищущую отвъта на вопросы жизни; господствующее-же воззрѣніе вѣка, которому подчинился и онъ, разрушило его дѣтскія и юношескія върованія и ничего не дало ему, чъмъ-бы онъ могъ ихъ замѣнить, въ чемъ-бы онъ могъ найти отвъть на неотступные вопросы сознанія. Воть изъ какой коллизіи выросла та внутренняя драма, которую переживаль Левинъ.

«Везъ знанія того, что я такое и зачёмъ я здёсь нельзя жить. А знать я этого не могу, слёдовательно нельзя жить», говориль онъ себъ. «Въ безконечномъ времени, въ безконечности матеріи, въ безконечномъ пространствъ выдъляется пузырекъ-организмъ, и пузырекъ этотъ подержится и лопнеть, и пузырекъ этотъ—я».

«Это была мучительная неправда, но это быль единственный, послёдній результать в'єковыхь трудовъ мысли челов'єческой въ этомъ направленіи. Это было то посл'єднее в'єрованіе, на которомъ строились вст, почти во встурь отрасляхъ, изысканія челов'єческой мысли. Это было царствующее уб'єжденіе, и

Левинъ изъ всѣхъ другихъ объясненій, какъ все-таки болѣе ясное, невольно, самъ не зная когда и какъ, усвоилъ именно это.

«Но это не только была неправда,—это была жестокая насмёшка какой-то злой силы, злой, противной, и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться отъ этой силы. И избавленіе было въ рукахъ каждаго. Надо было прекратить эту зависимость отъ зла. И было одно средство—смерть.

«И счастливый семьянинь, здоровый человѣкъ, Левинъ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что пряталъ шнурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться».

Но Левинъ жилъ, и жизнь его, покорная какимъто непонятнымъ ему законамъ, текла не безразлично, но проходила въ разнообразной дѣятельности и въ строгомъ соблюденіи установившихся правилъ. Продолжая мучиться занимавшими его вопросами, онъ въ то-же время старательно исполнялъ всѣ лежащія на немъ, какъ на мужѣ и на хозяинѣ, обязанности. Противорѣчіе это вызывало въ немъ новые вопросы и новыя мысли о томъ, что онъ живетъ хорошо, но думаетъ плохо. Разговаривая однажды съ мужикомъ Федоромъ, Левинъ услышалъ отъ него простыя слова, что Фоканычъ для души живетъ, Бога помнитъ. Слова эти поразили Левина, являясь для него точно какимъто откровеніемъ. Какой-то свѣтъ пролился изъ нихъ во мракъ терзающихъ его вопросовъ.

«А я искаль чудесь, жальль, что не вилаль чуда,

которое-бы убъдило меня. Чудо матеріальное соблазнило-бы меня. А вотъ чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всъхъ сторонъ окружающее меня,—и я не замъчалъ его...

«Өедоръ говорить, что Кириллъ дворникъ живеть для брюха. Это понятно и разумно. Мы всъ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ-же Өедоръ говорить, что для брюха жить дурно, а надо жить для правлы. для Бога, и я съ намека понимаю его! И я, п милліоны людей, жившихъ въка тому назадъ и живущихъ теперь, мужики, нищіе духомъ и мудрецы, думавшіе и писавшіе объ этомъ, своимъ неяснымъ языкомъ говорящіе то-же, — мы всѣ согласны въ этомъ одномъ: для чего надо жить и что хорошо. Я со встми людьми имтю только одно твердое, несомнънное и ясное знаніе; и знаніе это не можетъ быть объяснено разумомъ-оно внъ его, и не имъетъ никакихъ причинъ и не можетъ нивть никакихъ послѣлствій».

Ему стало ясно, что, несмотря на всё его сомнёнія, жизнь его держалась тёми вёрованіями, въ которыхъ онъ съ дётства быль воспитанъ.

«Что-бы я быль такое», продолжаль онь думать, «и какъ-бы прожиль свою жизнь, еслибы не имъль этихъ върованій, не зналь, что надо жить для Бога, а не для своихъ нуждъ? Я бы грабиль, лгаль, убиваль. Ничего изъ того, что составляетъ главныя радости моей жизни, не существовало-бы для меня...»

«Я искаль отвъта на мой вопросъ. А отвъта на

мой вопросъ не могла дать мысль, — она несоизм'врима съ вопросомъ. Отв'ють мий дала сама жизнь, въ моемъ знаніи того, что хорошо и что дурно. А знаніе это я не пріобр'ють ничёмъ, но оно дано мий вм'єсть со всёми, дано потому, что я ни откуда не могъ взять его».

Вдумавшись въ значеніе пережитаго Левинымъ душевнаго кризиса, нельзя не сознаться, что эта скромная, простая личность является выразителемъ крупнъйшаго вопроса нашего времени. Въчная природа человъческаго духа, съ его неистребимыми потребностями, возстала въ Левинъ противъ господства отрицанія, противъ безнадежнаго и неудовлетворяющаго міропониманія, овладъвшаго умами нашего въка; страданіями своими онъ какъ-бы заплатиль за историческія ошибки человъческой мысли, потому что и здъсь нътъ свободы, нътъ независимаго развитія личности, потому что жизнь покольній тъсно связана, потому что и здъсь ничто не прощается, и здъсь царитъ тотъ-же законъ: Мнъ отміщеніе, и Азъ возламъ.

При иной, болъе абстрактной и сконцентрированной манеръ творчества, графъ Толстой могъ-бы создать изъ Левина образъ, подобный Фаусту. Внутреннее содержаніе Левина, значеніе принесенной имъ идеи давали полную возможность для этого. Но этого не позволилъ реализмъ графа Толстого. Онъ не отступилъ отъ простоты изображаемаго имъ быта, и воплащая огромную идею, далъ ей конкретно-случайныя, скромныя формы обыденной дъйствительности. «Если

тутъ есть истина, она должна быть понята и безъ чистаго образа, въ ея естественномъ жизненномъ проявлени», какъ-бы говоритъ намъ авторъ своею манерой. Но если отъ такихъ пріемовъ творчества выигрываетъ правда дёйствительной жизни, то нельзя не замътить, что, подчиняясь неизбъжнымъ законамъ перспективы, въ этой правдъ тонетъ и умаляется высказанная авторомъ идея, и чтобы придать ей надлежащіе размъры, читатель долженъ отвлечь ее отъ лицъ и приподнять надъ дъйствіемъ романа.

Но что-же это за идея? Въ чемъ ея сущность?

Левинъ, говоритъ намъ авторъ, только тогла нашелъ выходъ изъ заколдованнаго круга своихъ сомнёній, только тогда освободился отъ своихъ вопросовъ, когда понялъ, что мысль несоизмфрима съ этими вопросами, что разумъ безсиленъ дать отвъть на нихъ. Только тогда онъ успокоился, когда фактъ, природу, свою живую душу поставиль выше разума, когда пересталъ искать его санкцій и подчинился тому, что непосредственно жило въ немъ. Вотъ этуто идею незаконной власти разума надъ жизнью и выражаеть душевная драма Левина. Увлекцись успъхами разума, человъчество увъровало въ него, какъ въ универсальную силу, все обнимающую и способную раскрыть основанія всего существующаго. Но въковая работа мысли въ этомъ направлении только разрушила прежнія вірованія человіка, которыя были действительно неразумны, и ничего не дала ему для жизни. И пора уже признать человъчеству, говорить авторь, что разумъ и не можеть

ничего дать ему въ отвъть на его неутоленную духовную жажду. Разумъ заключаетъ въ себъ только отражение жизни и самъ есть такой-же частичный фактъ природы, какъ и живущее въ душъ человъка непосредственное сознание долга. За что-же онъ поставленъ выше этого непосредственнаго чувства, зачъмъ искатъ невозможныхъ раціоналистическихъ обоснованій для ясныхъ и всъмъ понятныхъ требованій совъсти? Изумительное порабощение души разумомъ! Въчное идолопоклонство человъка!..

Вопросъ современнаго человъческаго счастья сводится, такимъ образомъ, къ сверженію такъ долго тяготъвшаго надъ душой ига разума и возстановленію того гармоническаго состоянія, когда человъкъ жилъ всею полнотою своихъ духовныхъ силъ и вполнъ удовлетворялся присущимъ ему непосредственнымъ сознаніемъ добра и зла.

## IX.

## "Смерть Ивана Ильича".

Изъ числа послёднихъ произведеній графа Толстого, собранныхъ въ XII томѣ его сочиненій, произвеленіемъ собственно беллетристическимъ можно назвать только одинъ разсказъ-«Смерть Ивана Ильича». Разсказъ этотъ, впервые появивнійся въ настоящемъ изданіи, быль встрічень всеобщимь интересомъ, показывающимъ, какъ много наше общество ждеть еще отъ своего художника. И оно не обманулось въ своихъ ожиданіяхъ. Если «Смерть Ивана Ильича» ничего не прибавляеть послъ «Войны и Мира» и «Анны Карениной» къ характеристикъ хуложественнаго таланта графа Толстого, зато даетъ очень много для опредъленія его міросозерцанія. Разсказъ этотъ связанъ тъснъйшимъ образомъ съ процессомъ внутренней жизни нашего художника за последніе годы и, очевидно, произведень теми-же идеями и настроеніями, которыя нашли себ'в выраженіе въ «Испов'єди» и подобныхъ ей моральнофилософскихъ произведеніяхъ.

По неизмънному закону природы, человъкъ долженъ умереть. Эта неизбъжность смерти придаетъ особый смыслъ и значение всей его жизни. Мы сознаемъ жизнь, какъ что-то конечное, подлежащее необходимому уничтоженію, поглощенію чёмъ-то безконечнымъ и неизвъстнымъ, и это сознаніе заставляеть насъ цёнить жизнь и дорожить ею, какъ преходящимъ и невозвратимымъ благомъ. Мы естественно желаемъ воспользоваться имъ наилучшимъ образомъ. Но въ чемъ эта наилучшая жизнь? Какую изъ тысячи предстоящихъ человъку возможностей. долженъ избрать онъ, чтобы не погубить свою жизнь, не променять прекрасныхъ даровъ ея на ничтожные, мелкіе соблазны? Воть вічный вопрось человічества, и этотъ вопросъ во всемъ его громалномъ значенін всталь передъ нашимъ художникомъ. «Смерть Ивана Ильича» есть отвъть на этоть вопросъ. Но отвътъ этотъ не содержить въ себъ идеала человъческой жизни; мы не найдемъ въ немъ указанія. какъ долженъ жить человъкъ, но увилимъ, какъ въ зеркалъ, ложь и ничтожность жизни современнаго человъка, увидимъ его какъ жертву общественнаго заблужденія, до того помрачившаго его сознаніе, что онъ всю жизнь гоняется за пустыми призраками счастья, за условными фикціями должнаго и уже не можеть понять истинной красоты жизни, не можеть желать ея дёйствительныхь благь. Здёсь авторь говорить, какъ не должно жить, «Смерть Ивана Ильича» есть произведение чисто отрицательное.

Въ произведении этомъ графъ Толстой изобража-

еть смерть человъка, процессь его постепеннаго разрушенія. Правда страданій, безсилія и грязи тёла, правда лушевныхъ состояній, правда предсмертной агоніи схвачена и передана художникомъ съ замічательнымъ мастерствомъ и тъмъ безпощалнымъ реализмомъ, примъровъ котораго немного найдется даже въ его творчествъ. Но смерть привлекла внимание нашего художника не ради нея самой, а ради ея значенія для жизни. Передъ безстрастнымъ лицомъ смерти ложь ненужна, искуственныя цёли и удовольствія невозможны; прожитая жизнь проходить передъ прояснившимся сознаніемъ челов'єка, и ему открывается ея дъйствительное достоинство, истинное значение всъхъ его желаній и пъйствій. Поэтому смерть есть лучшій показатель жизни: люди различной жизни различно умираютъ. Върующій умираетъ не такъ, какъ скентикъ; эгоистъ не такъ, какъ человъкъ любящій; труженикъ не такъ, какъ праздный искатель наслажденій.

Иванъ Ильичъ умираетъ мучительно и малодушно. Онъ былъ боленъ, онъ страдалъ физически, «но ужаснъе его физическихъ страданій были его нравственныя страданія, и въ этомъ было главное его мученіе». Нравственныя страданія его состояли въ томъ, что во время бользни ему первый разъ пришла въ голову мысль, что вся его сознательная жизнь была «не то», что онъ погубилъ свою жизнь.

«Ему пришло въ голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что онъ прожилъ свою жизнь не такъ, какъ должно было, —что это могла быть правда. Ему пришло въ

голову, что тъ его чуть замътныя поползновенія борьбы противъ того, что наивыше поставленными людьми считалось хорошимъ, поползновенія чуть замътныя, которыя онь тотчась-же отгоняль оть себя, что они-то и могли быть настоящія, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, н его семья, и эти интересы общества и службы. все это могло быть не то». Сознаніе, что онъ жилъ не такъ, что онъ безвозвратно погубилъ все, что ему было дано, сознаніе ничтожности и ненужности всего пережитаго причиняло ему страшную и все возростающую боль. Онъ возненавидёль окружающихъ его близкихъ людей-жену, дочь, доктора, такъ-какъ они напоминали ему обманъ, въ которомъ прошла его жизнь. Чёмъ ближе подходила смерть. тъмъ ужаснъе становилась мука, пока, наконепъ, она не превратилась въ какую-то безобразную судорогу отчаннія, въ какую-то непрерывную нравственную пытку. Нельзя читать безъ ужаса и отвращенія послъднюю страницу его жизни.

«Съ этой минуты, пишеть художникъ, начался тоть три дня не перестававшій крикъ, который такъ быль ужасенъ, что нельзя было за двумя дверями безъ ужаса слышать его... Онъ понялъ, что онъ пропалъ, что возврата нѣтъ, что пришелъ конецъ, совсѣмъ конецъ, а сомнѣніе такъ и не разрѣшено, такъ и остается сомнѣніемъ.

«У! Уу! У!» кричаль онъ на разныя интонаціи. Онъ началь кричать: «не хочу!» и такъ и продолжаль кричать на букву «у».

Всѣ три дня, впродолженіе которыхъ для него не было времени, онъ барахтался въ томъ черномъ мѣшкѣ, въ который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Онъ бился, какъ бьется въ рукахъ налача приговоренный къ смерти зная, что онъ не можетъ спастись; и съ каждой минутой онъ чувствовалъ, что, несмотря на всѣ усилія борьбы, онъ ближе и ближе становился къ тому, что ужасало его. Онъ чувствовалъ, что мученье его и въ томъ, что онъ всовывается въ эту черную дыру, и еще больше въ томъ, что онъ не можетъ пролѣзть въ нее. Пролѣзть-же ему мѣшаетъ признанье того, что жизнь его былахорошая. Это-то оправданіе своей жизни цѣпляло и не пускало его впередъ и больше всего мучило его».

Только за часъ до смерти онъ успоконлся, признавъ, что всего лучше ему умереть. Страхъ смерти псчезъ, ему показалось даже, что псчезла самая смерть, и новая, непонятная живымъ, радость охватила его душу.

Но что же такое Иванъ Ильичь? Какою жизнью заслужиль онъ свою предсмертную муку? — Иванъ Ильичь не быль злой или безчестный человъкъ, не совершилъ ничего преступнаго или даже неприличнаго. Жизнь его была самая простая и обыкновенная — и самая ужасная, прибавляетъ авторъ. Онъ былъ сынъ петербургскаго чиновника, тайнаго совътника Ильи Ефимовича Головина. Воспитывался въ училищъ правовъдънія и здъсь уже обнаружилъ присущія ему качества человъка способнаго, веселаго,

лобродушнаго и общительнаго, но въ то-же время строго исполняющаго свой долгъ, которымъ онъ считаль все то, что признаванось долгомъ наивыеше поставленными людьми. Въ старшихъ классахъ училища онъ отдавался чувственности, тщеславію и даже либеральности, но всегла только до извъстнаго преявла, всявдствіе чего всв эти увлеченія молодости не оставили большихъ слёдовъ въ его жизни. Выйдя изъ правовълънія, онъ ужхаль въ провинцію на мъсто чиновника особыхъ порученій при губернаторъ. Здъсь онь съумъль устроиться такъ-же легко и пріятно, какъ и въ правовъдъніи. «Онъ служиль, дълаль карьеру и вмъстъ съ тъмъ пріятно и прилично веселился... Была (у него) и связь съ одной изъ дамъ, навязавшейся щеголеватому правовъду; были и поъздки въ дальнюю улицу послъ ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жент начальника; но все это носило на себъ такой высокій тонъ порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только подъ рубрику французскаго изръченія: «il faut que jeunesse se passe».

Со введеніемъ судебной реформы Иванъ Ильичъ получилъ мѣсто судебнаго слѣдователя и переѣхалъ въ другой городъ. Здѣсь онъ зажилъ такъ-же пріятно, какъ прежде. Здѣсь-же онъ встрѣтилъ свою будущую жену, привлекательную, умную, блестящую дѣвушъу—Прасковью Өедоровну. Она влюбилась въ него и онъ женился на ней. «Сказать, что Иванъ Ильичъ женился потому», объясняетъ авторъ, «что онъ полюбилъ свою невѣсту и нашелъ въ ней сочувствіе

своимъ взглядамъ нажизнь, было-бы также несправедливо, какъ и сказать то, что онъ женился потому, что люди его общества одобряли эту партію. Иванъ Ильичъ женился по обоимъ соображеніямъ: онъ дѣлалъ пріятное для себя, пріобрѣтая такую жену, п вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ то, что нанвысше поставленные люди считали правильнымъ».

Брачная жизнь увлекла Ивана Ильича только на первое время, пока она увеличивала пріятность жизни и не надагала особенныхъ обязанностей. Но со времени беременности жены и затъмъ рожденія дътей, когла Иванъ Ильичъ понялъ всю трудность и сложность семейныхъ обязанностей, онъ, чтобы не нарушать пріятности и приличія своей жизни, выработаль къ семь особенное отношение, которое оставляло свободною значительную часть его личности. Въ семейной жизни онъ искалъ удобствъ домашняго объла, хозяйки, постели и того приличія внъшнихъ формъ, которое требовалось общественнымъ мивніемъ. Онъ принималь отъ семьи и тв удовольствія, которыя иногда она доставляла ему; если-же онъ встръчаль непріятности и поползновенія на свою личность, то тотчасъ уходиль въ выгороженный имъ міръ службы и въ немъ успоконвался.

По мъръ усложнения семейной жизни новыми обязанностями воспитания дътей, Иванъ Ильичъ все больше и больше удалялся отъ нея и уходилъ въ службу. Онъ сдълался честолюбивъ и его служебное положение перестало удовлетворять его. Послъ семнадцати лътъ службы, онъ былъ всего прокуроромъ

окружнаго суда. Важнъйшимъ интересомъ его жизни сдълалось повышение по службъ, главнымъ дъломъта политика отношеній съ выше-поставленными людьми, которая способна была поднять его на желаемую ступень. На этомъ поприщъ Ивану Ильичу пришлось испытать и обидныя неудачи, и неожиданный успъхъ. Онъ жланъ мъста предсъдателя въ одномъ изъ университетскихъ городовъ, но мъсто это успълъ получить другой. При слёдующемъ назначеніи, Ивана Ильича опять обошли. Раздраженный, обиженный, стъсненный въ средствахъ, Иванъ Ильичъ ръшилъ уже бросить службу по судебному въдомству и перейти въ какое-нибуль пругое, когда неожиданная неремвна лицъ наверху вытащила и его. Онъ получиль мъсто члена судебной палаты. Этотъ успъхъ осчастливиль Ивана Ильича. Въ планахъ и предположеніяхъ новой жизни онъ вполнѣ сошелся съ женою, и семейный миръ дополниль его довольство. Онъ убхаль въ новый городъ принимать должность и устроивать квартиру. На это устройство онъ положиль много труда и заботъ, стараясь сделать все такъ, какъ это бываетъ у богатыхъ людей. Устроивъ все, онъ вызвалъ жену и дътей и снова началъ евою приличную и пріятную жизнь. Онъ искаль и ум'єль находить удовольствія въ жизни. «Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія; но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ». Были, конечно, и непріятности. Непріятны были ссоры съ женою, попрежнему случавшіяся между ними, непріятно было

всякое разрушеніе заботливо созданной обстановки, всякое пятно на скатерти или штофъ, всякій поломъ мебели или порча посуды. Жизнь Ивана Ильича сложилась, вообще говоря, согласно его желаніямъ и стремленіямъ. Для полноты комфорта не доставало развъ одной комнаты, до полнаго удовлетворенія не хватало развъ рублей 500 въ годъ...

Вдругъ въ мирную и счастливую жизнь Ивана Ильича, готовую уже, кажется, приблизиться къ его идеалу, ворвалось что-то страшное и неожиданное. Иванъ Ильичъ заболѣлъ. Болѣзнь эта обрушилась на него, какъ снѣгъ на голову, нежданно-негаданно, отъ причины пустой и глупой: устранвая квартиру, онъ упалъ какъ-то съ лѣстницы и ударился бокомъ о раму. И изъ этого ушиба, въ то время, когда Иванъ Ильичъ забылъ уже и думать о немъ, развилась болѣзнь, приведшая его къ смерти.

Вотъ какова жизнь Ивана Ильича. Оглядываясь на эту жизнь, мы понимаемъ предсмертное отчанніе Ивана Ильича. Въ его жизни — отъ юности и до смерти — не было ничего человъчески-прекраснаго, добраго, ничего такого, что собственною силою и значеніемъ своимъ могло-бы удовлетворить духовную личность человъка, воспоминаніе о чемъ могло-бы успокоить его передъ смертью. Его жизнь была непрерывнымъ стремленіемъ къ цълямъ искусственнымъ и ничтожнымъ, суетнымъ служеніемъ жесто-кому и скудному Молоху, способному поглотить всю жизнь, но безсильному дать своимъ поклонникамъ хотя-бы одну истинную, человъческую радость. Онъ

никогда не жилъ прекрасными, благими силами луши, данными человъку природою, но довольствовался ихъ жалкими суррогатами. Вмъсто правлы-въ его жизни приличіе, вмъсто любви-чувственность, вмъсто содъйствія человъческому лобру — честолюбіе и корыстолюбіе, вийсто высокихь наслажленій красотою міра и человіка — ничтожныя уповольствія... Отвратительною кажется намь эта пустая жизнь выморочнаго себялюбія, жизнь, въ которой нътъ ничего искупающаго ея постоянную пошлость и мелочность, въ которой высшею ралостію челов'яка становится игра въ винтъ, и намъ делается понятнымъ, что нътъ человъка, котораго подобная жизнь моглабы удовлетворить. Не удовлетворяеть она и Ивана Ильича. И когда передъ смертью она встала передъ нимъ во всемъ своемъ содержаніи, онъ пришелъ въ ужасъ отъ сознанія чего-то лучшаго въ жизни, что онъ променяль на свои жалкія лела.

Мы сказали уже, что «Смерть Ивана Ильича» есть произведение отрицательное, и сила отрицания въ немъ такова, что, прочтя его, вы страшно чувствуете ложность изображаемой жизни, чувствуете, что такъ жить нельзя, не должно и не стоитъ. Это впечатлъние разсказа неотразимо, этотъ смыслъ его не подлежитъ сомнънию и не вызываетъ разногласия; но значение разсматриваемаго произведения зависитъ отъ степени всеобщности или исключительности раскрываемой имъ жизни—и въ этомъ пунктъ мнъния значительно расходятся. Намъ приходилось слышать по поводу разбираемаго разсказа, что графъ Толстой съу-

зилъ значеніе своей отрицательной идеи, представивъ въ Иванѣ Ильпчѣ какое-то нравственно убогое, обиженное судьбою существо. Это, говорять, своего рода Акакій Акакіевичъ, личность жалкая, униженная природой и не имѣющая никакихъ правъ представлять въ себѣ жизнь нашего общества. Убожество и ничтожность его жизни не смутятъ никого изъ этого общества, потому что всякій невольно почувствуетъ свое превосходство надъ Иваномъ Ильпчемъ, неизбѣжно замѣтитъ, что уровень его личнаго достоинства несравненно выше, чѣмъ тотъ, до котораго упалъ этотъ жалкій чиновникъ—Иванъ Ильичъ...

Въ этомъ мнѣніи мы можемъ видѣть только самообольщение. Человъку нашего общества не хочется признать себя въ томъ безпощадномъ зеркалъ, которое поднесъ ему художникъ, и онъ утверждаетъ, что оно изображаетъ не его, а какихъ-то другихъ людей. Съ точки зрънія нравственнаго достоинства, со стороны способности своей удовлетворить духовныя потребности челов'вка, жизнь Ивана Ильича д'вйствительно ничёмъ не выше жизни Акакія Акакіевича. Но чъмъ же выше въ этомъ отношеніи жизнь нашего культурнаго общества? Въ чемъ нравственное содержаніе его жизни, какія духовныя стремленія присущи ему, въ какомъ типъ находить оно свое настоящее выражение? Въ нашемъ обществъ есть несомнънно живыя струи: есть проблески духовныхъ потребностей, есть исканіе правды жизни, но всё эти струи текуть прочь отъ преобладающаго, установившагося и окръпшаго русла нашей культурной жизни; всъ потребности духа, всв исканія правды отрывають лишь немногія единицы отъ массы нашего общества. покорной изв'єстному, традиціонному порядку жизни. Все это отщепенны и протестанты общества, уходящіе отъ него то въ мистицизмъ, то въ трудовую народную жизнь, то въ скептическое, угрюмое одиночество. Отлълите ихъ-и вы получите то ядро культурнаго общества, достойнымъ представителемъ является Иванъ Ильичъ. Одинъ больше успълъ по службъ, другой больше страсти вложилъ въ свои отношенія къ женщинь, третій добился большаго богатства, - въ этомъ разнообравіе безконечное; но духъ ихъ жизни, ея внутренній смыслъ, тотъ тонъ, который дёлаеть музыку жизни, — у всёхъ одинъ и тотъже. И это тоть-же тонь, которымь звучить небольшая исторія жизни и смерти Ивана Ильича.

Разсматриваемое произведеніе не им'єть, конечно, универсальнаго значенія. Это не жизнь и не смерть челов'єка вообще. Не им'єть оно также значенія національнаго: Иванъ Ильичь не представитель русскаго народа, не выразитель русской души. Значеніе его опред'єляется тою сферою современнаго челов'єчества, которую мы называемъ культурнымъ классомъ: Иванъ Ильичъ—это художественное обобщеніе жизни этого класса; это образъ, въ которомъ выразилось все типическое изъ внутренняго, духовнаго содержанія этой жизни.

Подведемъ теперь итогъ всему сказанному о художественныхъ произведеніяхъ нашего писателя.

Графъ Толстой долго работаль въ литературъ и написаль очень много. Несмотря на эту продолжительность его творческой дъятельности и на разнообразіе затронутыхъ имъ мотивовъ, художественный міръ его созданій представляется органически единымъ. Міросозерцаніе автора, од'ввшееся въ художественные образы, въ своихъ существенныхъ чертахъ осталось и въ последнихъ его произведеніяхъ такимъ-же, какимъ обрисовалось въ первыхъ. Съ самаго начала своей литературной деятельности онъ выступиль безстрашнымь и неутомимымь искателемъ истины человъческой жизни, и та-же задача свътила ему и въ его послъднихъ созданіяхъ. Творчество графа Толстого всегда тяготело къ одному центру, пвигалось и развивалось однимъ основнымъ интересомъ-интересомъ къ человъческой личности. Что такое человъческая личность по ея внутреннему содержанію? Какія потенцін даны ей природою? Какъ можеть жить человъкъ на землъ и насколько открытыя ему возможности хороши или дурны, насколько онъ могутъ удовлетворить человъка, составить его счастье?---вотъ вопросы, формирующие творческие замыслы нашего художника, составляющие неизмънную основу всёхъ его произведеній. Доискиваясь отвъта на эти вопросы, онъ проявиль ту смълость и требовательность духа, ту ясность и трезвость мысли, которыя не позволили ему удовлетвориться обманами, какъ бы ни былъ высокъ ихъ авторитеть у человъчества, но заставили идти до конца во всъхъ изслъдованіяхъ жизни, раскрывая всю ея правду. Въ немъ съ необычайною силою сказались тъ свойства и стремленія духа, которыя создали реалистическое направленіе въ искусствъ. Въ качествъ смълаго и послъдовательнаго реалиста, онъ разоблачилъ немало человъческихъ обмановъ, разрушилъ много кумировъ. Здъсь, на почвъ искусственныхъ, аффектированныхъ идеаловъ, онъ является первый разъ отрицателемъ.

Но какую же идею принесъ онъ въ своемъ реализмѣ, какимъ чувствомъ отвѣтилъ на добытую правду жизни?

Были и есть художники, въ луш'в которыхъ настолько преобладала потребность чистой, абстрактной красоты, что невозможность осуществленія ея въ дъйствительности опредъляла все отношение ихъ къ жизни. Они могли найти себъ удовдетворсніе только въ созданіяхъ строгаго, классическаго искусства и. воспитавшись на его образцахъ, выносили глубокое разочарованіе изъ всёхъ столкновеній съ пействительностью природы и человъка. Они искали чистыхъ идеаловъ красоты, ума, страсти, величія; дъйствительность же-въ силу ея необходимыхъ законовъпредлагала имъ смѣшеніе красоты съ безобразіемъ. ума съ пошлостью, страсти съ мелочными заботами повседневности, величія съ ничтожествомъ. И они съ грустнымъ презрѣніемъ смотрѣли на землю и на земной удёль человёка. Въ своемъ творчествё они часто спускались на землю, изображали ея правиу.

но изображали зло, саркастически, изображали затъмъ, чтобы осмъять или оплакать ее, чтобы презръніемъ къ ней выразить горькій протесть гордаго и свободнаго духомъ человъка противъ его мелкаго земнаго жребія. Это - истинные представители пессимизма. Таковы Байронъ, Гейне, Альфредъ де Мюссе, таковъ отчасти нашъ Тургеневъ. Но не таковь графъ Толстой. Онъ умбетъ любить действительность такою, какъ она есть: въ его сердив живеть какое-то иное чувство, открывающее ему глубокій смысль жизни изаставляющее его не только мириться съ ними, но и находить для нихъ высшее оправданіе. Ни одинъ изъ героевъ его не представляется намъ безусловно красивымъ, благороднымъ. самоотверженнымъ или сильнымъ, но многихъ изъ нихъ мы не можемъ не любить за то человъческипрекрасное, что показалъ намъ въ няхъ авторъ. Вспомнимъ еще разъ Пьера Безухова, Андрея Болконскаго, Наташу, Левина. Всъ они въ высшей степени жизненны и правдивы, вск они несовершенны, но въ то же время всв они-прекрасны. Создавъ этн образы, граф Толстой дал новое содержание прекрасному. Поэты-пессимисты отрицають действительную жизнь во имя несбыточныхъ грезъ и желаній человъка; графъ Толстой отрицаетъ эти красивыя фантазіи во имя жизни. Онъ не разъ изображаль полное несогласіе жизни съ этими фантастическими идеалами, но для него жизнь всегда была пороже этого увлекательнаго бреда, и во всёхъ ихъ коллизіяхъ виноватою онъ считалъ не ее-за то, что она оказа-

лась безсильною выполнить мечту человъка, но самого человъка — за то, что онъ привязалъ свое счастье къ неосуществимому идеалу. Привеля жизнь къ правдъ, очистивъ ее отъ условныхъ возэръній, графъ Толстой видитъ въ ней не только зло и страланіе, не только убожество и животность. Онъ находить въ ней несомнънныя блага, умъетъ понять ихъ дъйствительное достоинство и умъетъ сдълать ихъ предметомъ истинной поэзіи. Поэзія его не есть. конечно, восторженная молитва страстнаго поклонника благъ жизни, — она вся проникнута спокойнымъ и нъсколько созерцательнымъ настроеніемъ, но это спокойствіе-плодъ мужественнаго и глубокаго чувства установившейся личности, смирившейся передъ необходимостями природы, передъ своимъ земнымъ жребіемъ и убъдившейся въ томъ, что жребій этотъ далеко не такъ скуденъ, какъ представляли себъ его поэты-пессимисты, что, заключивъ человъка въ огромную тюрьму его земной жизни, природа дала емуна радость и утешене-много своихъ прекрасныхъ и разнообразныхъ даровъ и что то, чего не помъстила она въ стънахъ этой тюрьмы, останется для него навсегда недоступнымъ.

Но поэтизируя дъйствительность человъческой жизни, графъ Толстой относится къ ней далеко не безразлично: его поэзія не есть сплошная санкція дъйствительности. Онъ видить въ ней добро и возможность счастья, но онъ знаетъ также, что человъкъ не можетъ жить только мотивами добра, что плохо умъетъ онъ пользоваться открытымъ ему счастьемъ;

онъ видить массу зла и заблужденій, видить, какъ часто человъкъ ошибочно строить зданіе своей жизни. Все построеніе современныхъ культурныхъ обществъ онъ считаеть основаннымъ на лжи, на забвеніи естественныхъ потребностей духовной природы человъка. Здъсь во второй разъ онъ является отрицателемъ: онъ отрицаетъ современную дъйствительность, но отрицаетъ ее во имя тъхъ благъ человъческаго добра и естественнаго счастья, которыя возможны для человъка и которыя не находятъ себъ удовлетворенія въ жизни современныхъ обществъ.

## X.

## Этическое ученіе графа Толстого.

Сдълавши характеристику графа Толстого, какъ художника, мы считаемъ необходимымъ, для полноты нашего очерка, сказать нъсколько словъ и объ этическомъ его учени.

Въ сферѣ духовной жизни—не только у насъ въ Россіи, но и во всей Европѣ—графъ Толстой является въ настоящее время безспорно самою крупною личностью. Какъ никто другой, онъ привлекаетъ къ себѣ мысль и вниманіе современнаго человѣка: онъ возбудиль цѣлое умственное движеніе среди нашего общества, онъ имѣетъ уже учениковъ и послѣдователей. И, какъ мы уже замѣтили выше, интересъ къ личности нашего писателя основывается, главнымъ образомъ, не на художественныхъ его созданіяхъ, которыя до сихъ поръ еще недостаточно поняты, но на содержаніи высказанныхъ имъ въ послѣднее время нравственныхъ идей.

Немало вниманія уд'єлила гр. Толстому и наша періодическая печать. И нужно сказать, что большинство ея органовъ отнеслось къ идеямъ нашего автора отрицательно. Но, несмотря на цѣлый рядъ этихъ отрицательныхъ критикъ, вопросъ о достоинствѣ и правдѣ ученія графа Толстого все-же остается открытымъ; всѣ эти критики лишь поверхностно касаются своего предмета, ограничиваются только разборомъ отдѣльныхъ, произвольно вырванныхъ и подчасъ дѣйствительно парадоксальныхъ, мнѣній авторачи ни одна изъ нихъ даже не потрудилась представить разматриваемое ученіе во всемъ его цѣломъ, ни одна не направила своего анализа на его основную идею, на его отличительную сущность.

Что-же такое графъ Толстой? Какую идею развиль онъ въ своемъ ученіи? Въ чемъ сущность этого ученія? Вотъ вопросъ, на который необходимо отвътить ясно и опредъленно, прежде чъмъ подвергать оцънкъ то или другое изъ его положеній или говорить о значеніи всего его міросозерцанія. Двънадцатая часть сочиненій графа Толстого, присоединяясь къ извъстному уже содержанію его прежнихъ пронзведеній, главнымъ образомъ его «Исповъди», представляеть уже достаточный матеріалъ для опредъленія основныхъ началь его ученія. Вотъ эти-то основы мы и постараемся уяснить въ настоящей главъ.

Ученіе графа Толстого обнимаєть не какой-либо спеціальный вопрось знанія, но содержить въ себ'я вопрось челов'єческой жизни въ его непосредственномъ, практическомъ значеніи; его можно сравнивать не съ методическими изсл'єдованіями современной науки, даже не съ попытками философіи, стремя-

щейся къ объяснению міра, но скоръе всего съ ученіями такихъ моралистовъ древности, какъ Будда или Сократь, которые прямо говорили человъку, какъ должно ему жить на землъ Ученіе графа Толстого, это—полное раскрытіе его внутренней жизни, это—дъйствительно «исповъдь», но исповъдь сердца, которому суждено было пережить и перестрадать великими и общими сомнъніями и вопросами нашего времени,

Въ области своей нравственной жизни человъкъ сознаетъ себя существомъ свободнымъ: онъ можетъ жить и такъ, и иначе, можетъ направить свою жизнь къ той или другой цъли, можетъ брать отъ жизни тъ или другіе ея дары. Но для того, чтобы быть спокойнымъ и счастливымъ, чтобы не испытыватъ мукъ и сомнъній, человъкъ необходимо долженъ быть убъжденъ, что избранный имъ въ жизни путь есть путь наилучшій.

Л. Н. Толстой, идя обычнымь путемъ людей нашего культурнаго общества, не быль спокоенъ и счастливъ. Обладая всёмъ тёмъ, что могло-бы служить вёнцомъ желаній интеллигентнаго человёка, онъ испытывалъ неотступную тревогу глубокихъ сомнёній. Эта тревога въ немъ происходила отъ того, что въ той жизни, которую онъ велъ среди своего общества, и въ томъ міросозерцаніи, которое онъ воспринять отъ своего времени, затерялись смыслъ и цёль человёческой жизни. А сознаніе этой цёли и этого смысла необходимо для человёка. Напряженно и мучительно сталъ онъ доискиваться этого смысла.

Жизнь, какъ явленіе міра, логически необходимо представляется намъ съ неизбъжными моментами ел возникновеніи и прекращенія — рожденія и смерти. Какой-же смыслъ можеть имъть эта конечная человъческая жизнь? Какой смыслъ ея не уничтожается неизбёжностью смерти? Этотъ вёковёчный вопросъ человечества всталь и передъ графомъ Толстымъ. Глъ искать отвъта на него? Въ положительной наукъ? Но она только объясняеть явленія, даеть отвіты только на вопросъ: почему существуетъ то или другое, а не на вопросъ: —зачёмъ. Она могла-бы, да н то лишь достигнувъ неопределенно высокой ступени развитія, — она могла-бы сказать, что жизнь человъческая явилась благодаря такимъ-то и такимъ-то сочетаніямъ частиць, такимъ-то и такимъ-то условіямъ, что она должна прекратиться благодаря такимъ-то и такимъ-то законамъ этихъ сочетаній, но за разрѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни она не берется и взяться не можеть, такъ какъ при изследованіи природы совершенно устраняеть вопросы о цёли и абсолютномъ смыслё явленій.

Искать-и отвъта въ умозрительной философіи? Но послъдняя, по словамъ графа Толстого, только ставить этоть вопросъ, а не отвъчаеть на него. Всякій отвъть ея есть, въ сущности, только усложненный вопросъ и не можетъ быть ничъмъ инымъ, такъ какъ всъ свои построенія философія выводить изъразума, а для человъческаго разума недоступна связь конечнаго съ безконечнымъ.

Вопросъ оставался неръшеннымъ, жизнь продол-

жала казаться лишенною смысла, а жить безъ смысла жизни было невозможно. Но какъ-же живуть и жили люди? Въ отнощеніи къ полнятому графомъ Толстымъ вопросу всё люди раздёляются на лве категоріи. Для однихъ, для дюдей того времени и того общества, гдъ жиль гр. Толстой, смыслъ ихъ жизни быль потерянь, такъ-же какъ и для него; для другихъ-для огромной массы живущаго и прежде жившаго человъчества, жизнь имъла ясный, вполнъ опредъленный смыслъ. Люди первой категоріи жили четырьмя различными исходами изъ своего положенія. Одни изъ нихъ вовсе не знали вопроса: не сознавая смысла своей жизни, они вовсе не думали о немъ и не искали его, а жили себъ изо дня въ день своими органическими потребностями и цълями. Но это, можеть быть, и счастливое невъдъніе людей немыслящихъ-невозможно, конечно, для того, въ комъ уже пробудилась дёятельность сознанія: нельзя отказаться отъ того, что знаешь. Второй исходъ-это исходъ эпикурензма. Сознавая безсмысленность своей жизни, люди ищуть забвенія въ наслажденіяхъ, въ мимолетныхъ радостяхъ, ищуть спасенія въ непрерывномъ опьяненіи жизнью. Но и этотъ исходъ доступенъ не всёмъ: онъ обусловливается извёстною тупостью воображенія. Всъ-же не страдающіе этимъ недостаткомъ легко могутъ представить себъ, что какая-нибудь случайность, какихъ тысячи въ жизни, можетъ отнять возможность наслажденія и дать вм'єсто нихъ необходимость страданія, что того-и-гляди придеть нищета или болъзнь и оставитъ безпомощнаго эпикурейца одного передъ вставшимъ вопросомъ жизни. Третій исходъ—исходъ послъдовательности и силы. Люди, страдающіе отъ отсутствія смысла въ ихъ жизни, уничтожають эту жизнь, кончають самоубійствомъ. Но и на это способны не всѣ, и многіе, образующіе четвертую группу, страдая въ безплодныхъ поискахъ смысла своей жизни, такъ и остаются жить со своими страданіями и исканіями. Но это уже вовсе и не выходъ изъ положенія, представляющагося невыносимымъ, а, напротивъ, безсиліе выйти изъ него.

Такимъ образомъ, жизнь культурнаго общества не давала никакихъ указаній и надеждъ на разрѣшеніе вопроса. Тогда графъ Толстой вышель изъ тъснаго круга этого общества и обратился къ народу, къ человъчеству въ его совокупности, въ его прошломъ н настоящемъ. И передъ нимъ обнаружился во всей ясности и несомивниости тотъ фактъ, что сравнительно только немногіе люди, только отдёльныя единицы не знають смысла своей жизни, масса-же человъчества отъ начала своего историческаго существованія и до нашихъ дней всегда сознавала опредъленный смыслъ жизни, всегда имъла отвътъ на вопросъ о назначеніи человъка. Этотъ смыслъ открывала человъчеству и хранила для него религія, неизмънная спутница его исторической жизни. И человъкъ приняль откровенія и завъты религіи, приняль не потому, чтобы она доказала ему ихъ разумность, но потому, что онъ върилъ въ нихъ.

И такъ, въра-вотъ что даетъ знаніе смысла жиз-

ни, вотъ въ чемъ отвѣтъ на вѣчный вопросъ человѣчества, вотъ что могло-бы прекратить муку поднявшихся сомнѣній. «Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ. Еслибы онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ-бы и не жилъ. Если онъ не видитъ, не понимаетъ, что конечное есть призракъ, онъ вѣритъ въ конечное; если онъ понимаетъ призрачность конечнаго, онъ долженъ вѣритъ въ безконечное. Безъ вѣры нельзя житъ...» говоритъ графъ Толстой.

Но хорошо тому, кто вырось въ вёрё и не утратилъ ен; «блаженъ, кто вёруетъ». А какъ быть сыну нашего времени, признавшему единственнымъ критеріемъ истины разумъ и потому отвергшему знаніе вёры, какъ предразсудокъ человёчества? Поможетъни ему уб'єжденіе, что смыслъ жизни открывается только вёрою? Вёдь разумомъ принять этотъ смыслъ невозможно, такъ какъ онъ основанъ вовсе не на разумъ и съ нимъ несоизм'єримъ; принять-же его вопреки разуму тоже невозможно: насильно нельзя заставить себя вёровать.

Положеніе невърующаго не измѣнилось и по-прежнему оставалось безнадежнымъ. «Пониманіе смысла жизни дается върою. Я не върую и не могу увъровать въ то, что представляется моему уму неразумнымъ»—дальше, казалось, идти было некуда, и многіе кончали отчаяніемъ на этомъ умозаключеніи. Но графъ Толстой не остановился на немъ и упорно продолжалъ свои исканія, пока передъ нимъ не открылась, наконецъ, какая-то новая дорога, повиди-

мому объщающая привести къ цъли. Руководящею нитью, выведшею его на эту дорогу, была мысль, что содержаніе человъческаго духа не исчерпывается дъятельностью разума, что сознательная жизнь человъка имъеть своимъ источникомъ не одинъ только разумъ, но и другія способности души.

Знаніе вёры не есть знаніе разума; слёдовательно, оно основывается не на разумё и пріобрётается не съ его помощью, а воспитывается самою жизнью, путемъ вліянія ея на какіе-то другіе элементы человіческой природы. Но такъ какъ существують и невірующіе люди, то очевидно, что для того, чтобы вліяніе жизни приводило къ вірів, самая жизнь должна иміть опреділенныя качества. Чтобы понять смысль жизни и увидіть въ ней благо, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была пе безсмысленна и зла, надо пережить благо жизни, прикоснуться къ нему всімъ существомъ своимъ, и тогда только разумъ съумітеть назвать это пережитое настроеніе. Словомъ—все діло въ качествахъ самой жизни.

Графъ Толстой сталъ всматриваться въ свою жизнь,—«и тутъ», говоритъ онъ, «я понялъ, что заблуждался не отъ того, что неправильно мыслилъ, а отъ того, что дурно жилъ. Я признавалъ жизнь безсмыслицей и зломъ, и моя жизнь была дъйствительно безсмысленна и зла». А между тъмъ это была обычная жизнь нашего культурнаго общества. Сравнивая ее съ жизнью той массы человъчества, которая въритъ въ смыслъ жизни и въ ея благо, графъ

Тодстой увидёль два совершенно различные склада жизни, при чемъ все различіе это устанавливалось тёмъ фактомъ, что наше образованное общество освободило себя отъ общечеловъческой обязанности труда. Въ то время, какъ человъкъ рабочей массы, исполняя законъ природы, въ потъ лица побываль хлёбь свой, человёкь культурной среды могь жить или совсёмь не трудясь, или съ однимъ подобіемъ труда. По непонятному суевърію, по какой-то странной слепоте, эта свобода отъ труда, эта возможность пользоваться трудомъ другихъ сдёлалась между людьми предметомъ страстныхъ желаній, признавалась главнымъ условіемъ счастья. Въ дъйствительности-же она породила только жестокую несправедливость и излишнія, ненужныя страданія. Съ точки зрѣнія общественной, она привела къ тому, что на каждаго неработающаго должны были работать другіе, вслідствіе чего трудь ихъ вырось до несоразмърности съ ихъ силами, сдълался для нихъ тяжкимъ бременемъ, разрушающимъ ихъ здоровье, поглотиль все ихъ время, низведя ихъ на степень работающихъ машинъ, -- словомъ, эта привиллегія жить безъ труда привела человъческія общества къ тому положенію, изъ котораго возникъ соціальный или рабочій вопрось во всемь его ужасномь значеніи. Съ точки зрвнія личной-она привела къ тому, что человікь, освободившій себя оть обязательнаго труда и стремящійся къ удовлетворенію своихъ все разростающихся похотей, нарушилъ законъ жизни. законъ человъческого счастья, за что и казнится неизбъжною потерею смысла жизни и въчнымъ внутреннимъ недовольствомъ.

На чемъ же, однако, держится этотъ порядокъ жизни, заставляющій однихъ страдать отъ избытка труда, другихъ—отъ его недостатка? Если въ душѣ каждаго онъ находитъ себѣ опору въ томъ роковомъ заблужденіи, что счастье—въ богатствѣ, освобождающемъ человѣка отъ обязанности трудиться, то чѣмъ оправдывается онъ въ общественномъ мнѣніи, въ сознаніи права и справедливости, на которомъ въ концѣ-концовъ основывается всякій общественный порядокъ?

Вопросъ этотъ заставляетъ графа Толстого обратиться къ міросозерцанію современныхъ обществъ, міросозерцанію, сформировавшемуся подъ вліяніемъ науки и искусства.

«На опытной, позитивной наукв теперь зиждется оправданіе всёхъ людей, освободившихъ себя отъ труда», говоритъ графъ Толстой. «По опредёленію этой науки, человічество или общества человіческія суть организмы, готовые или еще образующієся и подчиняющієся всёмъ законамъ эволюціи организмовъ. Одинъ изъ главныхъ законовъ этихъ есть раздёленіе отправленій между частицами организмовъ. Если одни люди живутъ въ изобиліп, а другіе въ нуждів, то это происходитъ не по волів Бога, не потому, что государство есть форма проявленія личности, а потому, что въ обществахъ, какъ въ организмахъ, происходитъ, необходимое для жизни цілаго, раздівленіе труда: одни люди исполняютъ въ обще-

ствахъ мускульную работу, другіе—мозговую». Согласно этому возэрѣнію позитивной науки, существующія въ человѣческихъ обществахъ различія положеній и занятій есть необходимое послѣдствіе органической природы этихъ обществъ, есть законъ жизни, который измѣнить невозможно и противъ котораго возмущаться безсмысленно.

Это въроучение нашего времени, съ его основнымъ принципомъ органическаго развитія общества, графъ Толстой признаетъ совершенно бездоказательнымъ и вполнъ произвольнымъ. Логика и очевидность дъйствительности противъ него, и если оно въ настоящее время овладёло умами образованных людей, то это единственно потому, что оно несеть въ себъ оправданіе человъческихъ слабостей. Теорія эта клонится къ тому, «чтобы то раздёленіе діятельности, которое существуеть въ человъческихъ обществахъ, признать органическимъ, т. е. необходимымъ, а потому разсматривать то несправедливое положение, въ которомъ находимся мы, уволившіе себя отъ труда люди, не съ точки зрѣнія разумности и справедливости, а только какъ несомнънный фактъ, подтверждающій общій законь... Какъ-же не принять такую прекрасную теорію!--Стоить только разсматривать человъческое общество, какъ предметъ наблюденія, и можно утъшать себя мыслью, что моя дъятельность, какая-бы она ни была, есть функціональная діятельность организма человъчества, и потому и ръчи даже не можеть быть о томъ, справедливо-ли то, что я пользуясь трудами другихъ, -- дёлаю только то, что мнѣ пріятно, какъ не можеть быть и рѣчи о томъ справедливо-ли раздѣленіе труда между мозговой клѣткой и мускульной. То-же было и съ предшествующими ученіями, господствовавшими въ свое время надъ міромъ, — съ философіей Гегеля, съ экономической теоріей Мальтуса: и они господствовали не въ силу принадлежащей имъ истины, но лишь въ силу того, что предлагали оправданіе человѣческой несправедливости».

Но, отрицая разумность, необходимость и справедливость существующаго въ современныхъ обществахъ распредъленія занятій, графъ Толстой не воз ражаетъ противъ самаго принципа разделенія труда, Раздёленіе труда должно быть въ человёческихъ обществахъ, но изъ этого не следуетъ, что оно должно быть именно такимъ, какъ оно есть. Принципъ разпъленія труда требуеть, чтобы между членами общества были распредълены всъ необходимыя для его существованія функцін, чтобы каждый быль занять какимъ-нибудь полезнымъ трудомъ и за это получалъ отъ другихъ нужные ему продукты ихъ труда. Но такого положенія, когда человікь производить пред меты ни для кого ненужные, и требуетъ, чтобы его за это кормили,-такого положенія нельзя оправдать принципомъ разделенія труда, такъ какъ это уже будеть не разделеніе, но захвать чужого труда. А между тъмъ, по словамъ графа Толстого, въ дъйствительности существуетъ именно такое положеніе.

Выставивъ это общее начало, графъ Толстой не

занимается изслъдованиемъ полезности каждой изъ существующихъ въ обществъ человъческихъ дъятельностей; онъ останавливается на первомъ раздълении труда—на умственный и физический—и разсматриваетъ только духовную дъятельность современнаго человъка, выражающуюся въ занятияхъ науками и искусствами. «Мы мозгъ народа. Онъ кормитъ насъ, а мы его взялись учитъ. Только во имя этого мы освободили себя отъ труда. Чему-же мы научили и чему учимъ его?» спрашиваетъ графъ Толстой.

Обрашаясь прежде всего къ прикладной наукъ, къ техникъ, изобрътенія которой непосредственно входять въ практическую жизнь, онъ замъчаетъ, что всъ успъхи ея «по особенной несчастной случайности. признаваемой и людьми науки, до сихъ поръ не улучшили, а скоръе ухудшили положение большинства, т. е. рабочаго». Стоитъ припомнить, напримъръ, изобрътение машинъ, лишившее работника самостоятельности и приведшее его въ зависимость отъ фабриканта и т. п. Если-же какое-нибудь усовершенствованіе жизни, открытое наукой, и бываеть иногда полезно народу, то это-чистая случайность въ дъятельности нашихъ ученыхъ, наступившая лишь потому, что народу не запрещается пользоваться изобрътеніями науки, но не потому, чтобы люди науки стремились въ своихъ занятіяхъ къ благу народа, чтобы они жедали быть ему полезными. Наши техники, механики, врачи, педагоги желають и умъють служить только обезпеченному культурному классу. Ихъ знанія и пріємы не приспособлены къ условіямъ трудовой народной жизни и они ничего почти не сдълали для удовлетворенія ея нуждамъ.

«Мы выдумали», пишеть авторъ, «телеграфы, телефоны, фонографы; а въ жизни, въ трудъ народномъ, что мы подвинули? Пересчитали два милліона букашекъ! А приручили-ли хотя одно животное со времень библейскихъ, когла уже наши животныя давно были приручены? А лось, олень, куропатка. тетеревь, рябчикъ-все остаются дикими. Ботаники нашли и клъточку, и въ клъточкахъ-то протоплазму. и въ протоплазив еще что-то и въ той штучкв еще что-то..., а со временъ египетской древности и еврейской, когда уже была вывелена пшенина и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растенія, кром' картофеля, и то пріобрѣтеннаго не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза и т. п., а прядка, тканкій станокъ бабій, соха, топорище, пѣнъ, грабли, ушатъ, журавенъвсе такіе-же, какъ были при Рюрикъ и т. д.». То-же самое можно сказать и про современныхъ хуложниковъ и поэтовъ. И они служатъ интересамъ и потребностямъ только небольшого кружка образованныхъ людей. Они пишутъ картины и слишкомъ дорогія для народа, и недоступныя ему по сюжету. Музыкальныя произведенія нашихъ композиторовъ разсчитаны на образованную публику и совершенно непонятны народу. Поэты также творять не для народа, и смыслъ ихъ произведеній по-прежнему теменъ лля него. И забытый своею интеллигенціею народъ уже привыкъ искать удовлетворенія своимъ духовнымъ нотребностямъ мимо ея и на ея глазахъ становится жертвою спекуляцій разныхъ полуграмотныхъ издателей и авторовъ. При такомъ значеніи для народа д'вятельности людей науки и искусства, им'вютъ-ли они право жить на счетъ труда этого народа?

Но наука и искусство призваны служить не однимъ только утилитарнымъ цёлямъ практической жизни. Главное и высшее ихъ назначение-удовлетворять луховнымъ потребностямъ человъка, Можетъ быть, современная наука сдёдала многое въ этомъ отношения? Въ настоящее время человъчество вланъеть извъстною суммою знаній, накопленныхъ втеченіе его многов'єковаго историческаго существованія. Но вся эта масса знаній, по мнінію гр. Толстого, не есть еще наука въ строгомъ смыслъ слова. Знанія эти касаются множества самыхъ разнообразныхъ предметовъ и человъкъ потерялся-бы въ этомъ безпорядочномъ множествъ, еслибы при изучени ихъ у него не было руководящей нити, еслибы нельзя было расположить эти знанія по степени ихъ относительной важности для человъка. Необходимо, слъдовательно, знать, какія изъ нихъ первой, какія меньшей важности. «И это-то, руководящее всёми другими знаніями, знаніе люди всегда называли наукою въ тъсномъ смыслъ». Важнъйшимъ-же вопросомъ во всемъ человъческомъ знаніи всегда быль вопрось о томъ, въ чемь назначение и потому истинное благо каждаю человька и всьхи людей. Попытки отвътить на этотъ вопросъ и составляють человъческую

науку. Такова, говорить гр. Толстой, была наука Конфунія, Буллы, Сократа, Магомета и другихъ: такою наука была всегла и только изъ этой науки опредълялось значение всъхъ другихъ знаній человъчества. Существование такой науки всегда признавалось необходимымъ, такъ какъ предметовъ наукъ безчисленное количество въ точномъ смыслъ этого слова, и безъ знанія того, въ чемъ назначеніе и благо всёхъ людей, нёть возможности выбора въ этомъ безконечномъ количествъ предметовъ и потому безъ этого знанія всѣ остальныя знанія становятся безполезнымъ и ненужнымъ матеріаломъ, самая-же дъятельность ученыхъ-праздной забавой. Если взглянемъ теперь съ этой точки зрѣнія на современную науку, то увидимъ, что она отвергла знаніе о назначеніи человъка и, взявъ своимъ девизомъ изученіе фактовъ и явленій міра, оставила ученаго безъ плана и безъ компаса перелъ безконечностью этихъ явленій. И это-то отринаніе самой сущности науки, отрипаніе, при которомъ немыслима никакая наука, называють теперь положительною наукой!

Не лучше и положеніе искусства. Безъ истинной науки не можетъ быть, по мижнію графа Толстого, и искусства, такъ какъ оно есть ничто иное, какъ выраженіе знанія о назначеніи и блать человька. Съ того-же времени, какъ затерялось это знаніе, невозможнымъ сдёлалось и существованіе искусства, которое и превратилось у насъ въ ремесло, доставляющее людямъ пріятныя ощущенія, и вмёстъ съ тъмъ утратило всякое право возвышаться надъ хо-

реграфическимъ, кулинарнымъ, косметическимъ и т. п. искусствами.

Свой трактать о назначении науки и искусства графъ Толстой заканчиваеть следующими словами «Пора опомниться и оглянуться на себя. Вѣль мы ничто иное, какъ книжники и фарисеи, съвшіе на съдалище Моисея и взявшіе ключи отъ парства небеснаго, и сами не входящіе и другихъ не впускающіе. Відь мы-жрецы науки и искусства-самые дрянные обманщики, имъющіе на наше положеніе гораздо меньше правъ, чъмъ самые хитрые и развратные жрецы. Вёдь для привиллегированнаго положенія нашего у насъ ніть никакого оправданія. Жрецы имъли право на свое положение-они говорили, что учать людей жизни и спасенію. Мы-же стали на ихъ мъсто и не учимъ людей жизни, даже признаемъ, что учиться этому не надо, а учимъ своихъ дътей тому-же нашему талмуду-греческой и латинской грамматикъ, для того, чтобы и они могли продолжать ту-же жизнь паразитовъ, какую мы ведемъ» (ч. XII, стр. 328).

Но что-же намъ дѣлать? На этотъ, неизбѣжно возникающій изъ всего ученія, вопросъ графъ Толстой даеть слѣдующіе три отвѣта.

Во-первыхъ: не лгать ни передъ людьми, ни передъ собою, не бояться истины, куда-бы она ни привела насъ.

Все значеніе этого отвъта будеть понятно намъ только тогда, если мы представимъ себъ, какъ трудно привиллегированному человъку примънять, во всей

ихъ чистотъ, требованія своего разума и совъсти; какъ трудно разойтись во имя ихъ со всѣми окружающими и остаться одному; какъ трудно, словомъ, разстаться съ привычною ложью жизни. А всего этого требуетъ правило: не лгать передъ собой.

Во-вторыхъ: отречься отъ сознанія своей правоты, своихъ преимуществъ, особенностей передъ другный дюдьми, и признать себя виноватымъ.

Только отречение отъ сознания себя существомъ особеннымъ, имъющимъ право на особенное между людьми положение и призваннымъ къ какой-то псключительно-полезной дъятельности, являющейся главнымъ источникомъ нравственныхъ страданий человъка,—только такое отречение можетъ привести его къ исполнению того въчнаго и несомнъннаго закона жизни, требование котораго составляетъ содержание третьяго отвъта графа Толстого:—«трудомъ всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться съ природою, для поддержания жизни своей и другихъ людей».

Трудъ обязателенъ для человъка, какъ законъ жизни, какъ условіе его счастья. Человъкъ долженъ выпустить зарядъ энергіи, принимаемый имъ въ видъ нищи, долженъ работать физическимъ, мускульнымъ трудомъ. Исполняя этотъ общій законъ природы, изъ подъ дъйствія котораго человъкъ не можетъ безнаказанно выйти, онъ можетъ получить полное удовлетвореніе своихъ потребностей: работая на себя, онъ удовлетворяетъ физіологической сторонъ своей природы, работая для другихъ людей—удовле-

творяетъ своей духовной потребности. Вотъ путь, который, по мнѣнію графа Толстого, можетъ вывести человѣка изъ опутавшей его лжи и дать ему радостную и счастливую жизнь.

Предложенное графомъ Толстымъ разрѣшеніе вопроса: что дѣлать?—имѣетъ не одно только личное значеніе. Это въ то-же время и разрѣшеніе вопроса экономическаго и соціальнаго, который, по мнѣнію нашего автора, есть въ сущности вопросъ крыловскаго ларчика. Его надо просто открыть. И онъ дѣйствительно открывается естественнымъ стремленіемъ человѣка къ его собственному счастью, къ его нравственному успокоенію, разъ только онъ пойметъ, что его счастье въ исполненіи закона жизни, повелѣвающаго ему трудиться для себя и другихъ.

Очеркъ своего идеала общественной жизни графъ Толстой даетъ въ сказкъ объ Иванъ дуракъ и его двухъ братьяхъ, показывая намъ царство, гдъ всъ поди работаютъ, гдъ война невозможна, за отсутствіемъ сопротивленья, гдъ деньги служатъ только игрушкою дътей и гдъ не пускаютъ за столъ никого безъ трудовыхъ мозолей на рукахъ.

Таковы главныя основанія, остовъ ученія графа Толстого.

## XI.

Значеніе этическаго ученія графа Толстого.

Какъ всякая практическая философія, какъ правственный колексъ жизни, учение графа Толстого предполагаеть подъ собою цёлое опредёленное міросозернаніе; полный разборь его могь-бы быть выполченъ только въ обширной и трудной работъ, восходяшей къ самымъ первоначальнымъ вопросамъ и заключающей въ себъ пересмотръ и повърку всъхъ тъхъ положеній, изъ которыхъ нашъ авторъ выводить свой практическій идеаль жизни. Въ томъ-же небольшомъ очеркъ, который мы можемъ посвятить оцънкъ этого идеала, нечего, конечно, и думать о подобной задачь: мы хотимъ только опредълить его своеобразный характеръ, его основныя черты и особенности и затъмъ отвътить на вопросъ: почему графъ Толстой возбудиль своимъ ученіемъ такой интересь въ нашемъ обществъ? Какою силою дъйствуетъ это ученіе? Чъмъ оно привлекаетъ, а иногда и подчиняетъ себъ человъка?

При внимательномъ отношении къ проявленіямъ духовной жизни человъчества нельзя не замътить. что въ наше время, въ наши последнія десятилетія. совершился какой-то переломъ этой жизни: что-то старое отжило, возникаеть что-то иное. Девятнациатый въкъ сходить со сцены; начинается новый періодъ жизни. Пока — это новое направление сказывается. главнымъ образомъ, какъ отрицаніе, какъ своего рода протестантизмъ. Когда-то человъкъ во имя разума протестоваль противь религіозной ортодоксіи, противъ обязательнаго симвода въры, противъ принужденія совъсти. Разумъ сдълалъ свое дъло-освободилъ человъка отъ власти погматики. Теперь человъкъ протестуеть противь чрезмёрныхь притязаній разума, забывшаго, что онъ есть живая личность, сложный и разнообразный организмъ потребностей, а не только воплошенная логическая способность, могущая удовлетвориться одними раціональными построеніями.

Много отвётовъ было предложено разумомъ на въчный, общечеловъческій вопросъ: какъ должно жить и что дёлать? Много философскихъ системъ и этическихъ доктринъ было построено для его разръшенія; но пока человъкъ требовалъ разумнаго доказательства всёхъ этихъ системъ и доктринъ, онъ всегда оказывались произвольными, лишенными основанія, опирающимися на что-то для разума недоступное. Продолжительный опытъ привелъ наконецъ человъка къ сознанію, что разумъ безсиленъ создать тотъ идеалъ, осуществленіе котораго могло-бы стать цёлью его жизни; а несомнънные факты прошлаго и настоя-

шаго въ тоже время убъждали его, что человъчество постоянно владёло такими идеалами. Выволы явились сами собою: онъ поняль, что не разумъ создаль тъ образы, которыми жило человъчество, и что не въ разумъ коренилась ихъ сила; онъ понялъ, что образъ, создаваемый человекомъ, иметъ какую-то непосредственную власть надъ его душою, можетъ произвести въ ней то потрясение, силою котораго его воля возбужлается къ определенному действио. Словомъ, онъ понядъ, что заблуждался, когда, раздробивъ свою личность, жилъ только одною частью ея, когда всю духовную жизнь ограничиль сферею разума и, какъ на признаки грубаго суевърія и невъжества, смотрълъ на всякую идею, неподлежащую логическому доказательству. Воть этоть-то протесть противъ исключительнаго господства разума, это признаніе иныхъ, не разумныхъ, основаній нравственнаго идеала-это-то и составляеть содержание новаго направленія духовной жизни, начавшагося въ посліднее время.

Но какъ ни важно истинное знаніе того пути, которымъ человѣкъ можетъ придти къ идеалу, само по себѣ такое знаніе еще не даетъ удовлетворенія, все равно какъ совершенно правильное представленіе голоднаго, что ему нуженъ хлѣбъ, а не камень, не утолитъ его голода. Нужно дъйствительно добытъ хлѣба; нужно дъйствительно создать идеалъ. Нужно создать такой идеалъ, который-бы отвѣчалъ требованіямъ настоящаго времени, который-бы присущею

ему нравственною силою могъ подчинить себъ душу современнаго человъка.

Этическое ученіе графа Толстого представляеть попытку создать такой идеаль для нашего времени.

Когла, несколько леть тому назадь, графъ Толстой написаль свою «Испов'ядь», и она, несмотря на всѣ трулности, слѣдадась извѣстна обществу, недьзя было не зам'втить, что усп'вхъ ея былъ совершенно несоизмъримъ съ успъхомъ другихъ произведеній нашей литературы. Не говоря уже о размърахъ вызваннаго ею интереса, качественно къ ней относились совежмъ не такъ, какъ привыкли относиться къ произведеніямъ другихъ авторовъ. Видно было, что она затронула какія-то глубокія и сильныя потребности человъческой луши, что она отвътила какому-то большому и важному ожиданію. «Испов'єдь», какъ извъстно, есть исторія сомнъній и исканій автора. Въ ней выступаетъ живая личность человъка, съ неистребимымъ въ ней сознаніемъ своей свободы, съ неизбъжнымъ вопросомъ: какъ онредълить свою жизнь, какъ вести ее въ виду необходимости выбора каждую минуту, при каждомъ дъйствіи? Глубокое пониманіе истинныхъ потребностей человъческой души, искренность и последовательность мысли, которая не боится никакихъ выволовъ, сдёлали то, что «Исповёдь» графа Толстого потеряла свой личный характеръ и явилась какъ-бы общечеловъческимъ выраженіемъ нравственныхъ стремленій и исканій. Путь, пройденный графомъ Толстымъ, представляется неизбъжнымъ для всякаго сознанія, разъ только въ немъ возникнетъ вопросъ о цъли жизни и скажется потребность нравственнаго илеала. Но такой вопросъ получиль особенное значение именно въ наше время, и такая потребность всего сильнее опгущается именно современнымъ человъкомъ-и вотъ это-то и сблизило графа Толстого съ обществомъ, это-то и вызвало тотъ необыкновенный интересь къ его этическому ученію. о которомъ мы только что говорили. Современный человукъ уже не можеть понимать языкъ отлаленныхъ предковъ, завѣщавщихъ ему свои нравственные идеалы. Ихъ въра уже чужда ему, ихъ идеалы уже не властны надъ нимъ. Казалось-бы, всякое время полжно быть способно къ нравственному творчеству. къ созданію такихъ образовъ жизни, которые могли бы удовлетворить соотвётствующаго ему человёка: но, къ сожалънию, это далеко не такъ... И наше цослъднее стольтие — эпоха разума и новой наукиничего не съумбло создать для удовлетворенія нравственной личности. Громко провозгласивъ себя единственнымъ источникомъ истины, эта наука до сихъ поръ только собираетъ крупинки знанія, изъ которыхъ нётъ никакой возможности сдёлать нужный для человъка выводъ о цъли его жизни, о необходимыхъ ему принципахъ дъятельности. Только недавно созрѣда и окрѣпла въ нашемъ обществѣ мысль, что современная наука безсильна создать идеалы, удовлетворяющіе живую человіческую личность, и оно стало искать другихъ источниковъ удовлетворенія своихъ духовныхъ потребностей. Въ это время графъ Толстой выступиль со своими этическими произвеленіями. Онъ говориль языкомъ понятнымъ для насъ, онъ родной намъ по духу, онъ самъ пережилъ наши иллюзіи и разочарованія и онъ въ основаніе своего ученія ставиль тоть-же вопрось, которымь и мы всѣ мучились, — вопросъ: какъ должно жить и что дълать? Явись его ученіе нѣсколько лесятилѣтій назадъ, оно не имъло-бы теперешняго значенія, такъ какъ тогда человъкъ не изжилъ еще своей въры во всемогущество точной науки. Есть, впрочемъ, еще одна причина, почему ученіе графа Толстого не могло-бы быть принято въ нашемъ недавнемъ прошломъ. Ученіе это отправляется отъ сознающаго свою особность я. отъ личности, отъ блага конкретнаго человъка. Въ недавнемъ-же прошломъ господствовала идея общаго блага; человъкъ работалъ надъ общественными задачами и настолько быль увлечень ими, что въ немъ и не шевелились еще сомнънія о томъ, исполняетъли онъ свое назначение, предаваясь этой дъятельности, и какимъ результатомъ скажутся на его собственномъ счастьи успъхи его общественныхъ предпріятій. И здёсь нужень быль опыть, нужень быль отливъ общественныхъ увлеченій, нуженъ былъ смёлый шагь мысли, чтобы личность выдёлила себя изъ общества и сознала самостоятельность своихъ иълей и необходимое первенство вопросовъ собственнаго счастья. Все это было въ нашей жизни. И разочарованіе въ соціальныхъ идеалахъ, и упадокъ общественныхъ интересовъ, и индивидуалистическая тенденція, направившая мысль на разработку внутренней личности, -- все это прошло у насъ передъ глазами, подготовило почву ученію графа Толстого и еще разъ доказало, насколько тъсно, органически связанъ этотъ писатель съ своимъ обществомъ. Онъ переживаетъ тъ-же вопросы и настроенія, что п общество; только онъ скоръе справляется съ ними и умъетъ дать имъ ясное выраженіе въ то время, какъ въ остальномъ обществъ они находятся еще въ состоянін смутной, не опредълившейся тревоги.

Создавая нравственный идеаль непосредственными силами личности, гр. Толстой, какъ мы знаемъ, отрицательно отнесся къ складу современной жизни и притомъ не только къ внѣшнимъ формамъ ея, но и къ тъмъ принципамъ и стремленіямъ, которыя образовали ее и которыя онъ обнимаеть въ общемъ понятіи «ученія міра». На ученіе это онъ смотрить какъ на глубокое заблуждение, заставляющее человъка всю жизнь гоняться за призраками счастья и скрывающее отъ него то дъйствительное благо, къ которому призываетъ его природа. Избъгая простоты и труда, презирая естественныя, здоровыя радости и въчно стремясь къ разнообразію наслажденій, уходя изъ Божьяго міра въ свой искусственный комфорть и отгораживаясь отъ большинства людей тщеславною выдумкою своихъ особенныхъ достоинствъ. человъкъ нашей культуры, по мнънію графа Толстого, выбраль дожный путь, неправильно построиль свою жизнь. Но ложь этой жизни чувствуетъ и самъ культурный человъкъ. Она проводится въ его сознаніе то посредствомъ безъисходной тоски и повидимому безпричинной скуки, то вспышками возмущающейся совъсти. Не случайны, конечно, тъ явленія апатіи и отвращенія къ жизни, часто кончающіяся самоубійствомъ, которыя такъ характерны для нашего культурнаго общества. Не случайны также и возмущенія нравственнаго чувства противъ роковыхъ послъдствій установившагося порядка жизни. Все это ясно свидътельствуетъ о разростающейся ненормальности этого порядка, о томъ, что жить человъку становится все труднъе и мучительнъе. Современный человъкъ сознаетъ это и въ отрицаніи графа Толстого опять-таки находитъ выраженіе своихъ собственныхъ настроеній.

Но зачёмъ же человёкъ создалъ себё такую жизнь и живетъ на этой добровольной каторгё?

По мнѣнію графа Толстого, въ образѣ жизни современнаго человѣка нѣтъ ничего обязательнаго Нъть законовъ, которые-бы заставляли человъка жить вопреки требованіямъ его природы, и если онъ живеть такъ, то только нотому, что самъ допускаетъ такую жизнь, только потому, что даеть госполствовать надъ собой тёмъ мелкимъ страстямъ и желаніямъ, которыя находять въ ней удовлетвореніе. Ничего органическаго нътъ въ этой жизни, и отъ самого человъка зависить вывести свою личность изъ этой традиціонной лжи и устроить себ'в иную жизнь, болъе естественную и согласную съ его нравственною природою. Нужно только признать дъйствительное значение требований этой природы и отказаться отъ того, совершенно произвольнаго, по мнёнію граокфа Толстого, воззрѣнія, что современный порядъ

жизни есть необходимая стадія въ процессъ соціальнаго развитія человъчества, противъ котораго безсильны всъ стремленія отдъльныхъ лицъ. Графъ Толстой энергически возстаетъ противъ такого фатализма и противополагаетъ ему ободряющую идею свободнаго творчества какъ личной, такъ и общественной жизни. То зло, которое каждый человъкъ можетъ устранить изъ своей жизни, можетъ быть уничтожено и въ жизни общественной.

«Есть, говорить онъ, индъйская сказка о томъ. что человъкъ уронилъ жемчужину въ море, и чтобы достать ее, взяль ведро и сталь черпать и выливать на берегъ. Онъ работалъ такъ не переставая, и на седьмой день морской духъ испугался того, что человъкъ осушитъ море, и принесъ ему жемчужину. Если-бы наше общественное зло угнетенія челов'єка было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоитъ того, чтобы отдать свою жизнь на вычернывание моря этого зда. Князь міра сего испугается и покорится скоръе морского духа; но общественное зло не море, а вонючая помойная яма, которую мы старательно наполняемъ сами своими нечистотами. Стоить только очнуться и понять, что мы дёлаемъ, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тотчасъ изсякло и мы овладёли безцънной жемчужиной братской, человъческой жизни».

За послёднее время человёкъ сильно запустиль свою нравственную личность. Цивилизованная жизнь выработала торныя дороги, на которыя вступалъ каждый чуть-ли не съ самаго рожденія и покорно

шелъ по нимъ, принимая ихъ какъ что-то неизбъжное. Хороши-ли онъ, дурны-ли, онъ не спрашиваль. Такъ жили, такъ живутъ-значить такъ должно жить, значить такова судьба человъка, думаль онъ, и вмёсто того, чтобы осуществлять въ своей личности то лучшее, о чемъ говорили ему его разумъ и совъсть, онъ принижаль ее до господствующаго уровня нравственности и подчиняль существующимъ формамъ жизни. Въ этой нравственной пассивности грайъ Толстой видитъ главную причину несчастій современнаго человъка и горячо призываетъ его къ работъ внутренняго усовершенствованія, исторіей своей жизни убъждая его, что людямъ даны сила и возможность осуществлять ихъ идеалы въ дъйствительности. Къ этому-то призыву, намъ кажется, всего внимательнъе и прислушивается наше общество.

Но для того, чтобы призывъ этотъ могъ получить какое-либо практическое значеніе, необходимо было выработать идеаль, который-бы подлежаль осуществленію. И графъ Толстой, какъ мы знаемъ, вышелъ на проповъдь не съ однъми общими фразами; онъ несъ съ собою совершенно опредъленный идеаль жизни Обязанность каждаго личнымъ, физическимъ трудомъ участвовать въ борьбъ человъчества съ природою, простота и правда жизни, разумная послъдовательность въ удовлетвореніи потребностей, свободное, братское общеніе со всъми людьми—вотъ сжатая формула этого идеала.

Идеалъ этотъ, какъ и всякій вообще идеалъ, выходящій изъ блестящей дали неопредёленныхъ мечтаній и облекающійся въ реальныя формы жизни, разочароваль многихъ. Однимъ показалось ничтожнымъ его жизненное значеніе: они увидъли въ немъ только выходъ изъ положенія небольшой кучки праздныхъ людей. Другіе не могли помириться съ его бъдностью, съ его будничнымъ, съренькимъ видомъ. Третьи признавали его невозможнымъ.

Съ первыми можно согласиться въ томъ, что идеаль графа Толстого вносить нъчто новое только въ жизнь сравнительно небольшого круга людей, освободившихся отъ обязанности труда, что дъйствіе этого идеала ограниченно. Но эта ограниченность въ настоящемъ случат доказываетъ только его универсальность и жизнеспособность, такъ какъ происходить не оть того, чтобы требованія его были непримънимы къ большинству человъчества, а отъ того, напротивъ, что трудящаяся масса уже и въ настоящемъ своемъ состояніи отв'ячаетъ основнымъ принципамъ этого идеала. Для полнаго торжества его въ жизни необходимо только, чтобы принципы эти были приняты и осуществлены и тъми людьми, которые не покорились общему закону труда и ушли отъ него или въ полную праздность, или въ сферу труда привиллегированнаго. Если-же торжество этого идеала наступить, если онъ примется всёми людьми, жизнь наша измънится до неузнаваемости. Идеалъ графа Толстого касается тъхъ глубокихъ основъ жизни, на которыхъ держится весь современный строй ея, п измънение которыхъ необходимо повлечетъ за собой переустройство всёхъ жизненныхъ отношеній. Все 13\*

должно изміниться подъ вліяніемъ того новаго візнія жизни, съ которымъ связано осуществленіе этого идеала труда:—быть частный и общественный, здоровье и нравственность человіка, его удовольствія, его наука и искусство—все должно перемінить свой характерь и образъ и приспособиться къ новому началу жизни.

«Но-говорять другіе-вѣчный трудъ, простота и размъренность жизни... Торжествующая физіологія!.. Какъ это тускло, бъдно, непривлекательно! Это знакомое намъ «мужицкое счастье», и образъ его не овладъетъ нашей фантазіей». Да, не на праздникъ зоветъ графъ Толстой человъка, а на трудный подвигъ жизни. Онъ не скрываетъ будничной стороны своего идеала, не зарисовываеть ее яркими красками, не сулить шума и блеска въ его осуществленіи Трудъ и воздержаніе—законъ жизни, говорить онъ. А потому подвигъ труда и воздержанія—необходимый жребій человіка, указанный ему природою. Возставая пративъ него, убъгая отъ труда и безгранично отдаваясь своимъ влеченіямъ, человъкъ совершаетъ зло и несетъ за то тяжкія последствія. Все одънивается сравнительно: какъ ни бъдна и ни скромна жизнь, согласная съ требованіями природы, но все-же она даеть человъку больше счастья, чъмъ погоня за блестящими призраками, чёмъ жизнь съ несбывающимся ожиданіемъ невозможныхъ наслажденій. Графъ Толстой разоблачиль эту жизнь, показаль, что она такое въ дъйствительности, показаль ненужность ея цълей и интересовъ, ничтожность ея утъхъ, безчеловъчность ея отношеній и ту мучительную душевную пустоту, которую безсильны наполнить рождаемыя ею разнообразныя, но поверхностныя и скоропроходящія ощущенія. Вспомните, напримъръ, Ивана Ильича и его жизнь... Вмъстъ съ этимъ графъ Толстой заставилъ своихъ читателей почувствовать, что жизнь труда и умфренности вовсе не такъ страшна и, главное, не такъ пошла, какъ ее обыкновенно представляють. Онъ раскрыль передъ нами таящіяся въ ней огромныя задачи борьбы съ природою и съ собою, показалъ ея несомнънныя радости-бодрость духа и спокойствіе сов'єсти, проистекающія изъ правильнаго удовлетворенія человъкомъ его физическихъ и нравственныхъ потребностей. Пора отрезвиться, довольно обмановъ! Если на землъ невозможно то лучезарное счастье, которое носилось передъ нами въ нашихъ поэтическихъ грезахъ, то нечего и гнаться за нимъ и вмъсто этихъ безплодныхъ и мучительныхъ исканій лучше принять хотя и скромныя, но дъйствительныя блага трудовой и человъчески-справедливой жизни.

Таковъ выводъ изъ ученія графа Толстого.

Какъ ни почтенны, однако, начала труда и справедливости, защищаемыя этимъ ученіемъ въ качествъ основаній новой жизни, но это не мъщаетъ многимъ сомнъваться въ возможности осуществить эту жизнь въ наше время. Какъ отнесутся къ этимъ началамъ современныя общества? Много-ли найдется людей, способныхъ слъдовать ученію графа Толстого?—Не вдаваясь въ подробный разборъ этихъ вопро-

совъ, замътимъ только, что учение графа Толстого появилось какъ нельзя болъе своевременно. Основной принципъ этого ученія-равенство всёхъ передъ обязанностью трулиться-есть въ то-же время и логическій выволь лемократической тенленціи, начав шейся въ прошломъ въкъ и все возростающей вплоть до нашего времени. Разница только въ томъ, что демократизмъ-идея общественная, и для него принципъ равенства и вытекающая изъ него обязанность всякаго трудиться есть условіе общественнаго блага. Ученіе-же графа Толстого—идея этическая, и для него упомянутый принципъ есть условіе индивидуального блага личности. Отправляясь отъ противоположныхъ началъ, объ идеи приходятъ къ одному и тому-же выводу и, встречаясь въ немъ, оказывають другь-другу взаимную поддержку. Ученіе графа Толстого нашло сознаніе современныхъ обществъ уже подготовленнымъ для воспріятія указываемаго имъ идеала жизни и въ то-же время само создало новый стимуль для осуществленія началь демократіи. Съ необыкновенною простотою, съ грубою осязательностью доказываеть графъ Толстой необходимость труда для всякаго человъка ради его-же собственнаго счастья. Человъкъ долженъ мускульнымъ трудомъ выпустить полученный имъ зарядъ энергіи, иначе онъ заболъеть физически и нравственно-вотъ основное положение практической морали графа Толстого, и положение это силою вещей входить въ самую глубь того соціальнаго вопроса, разрешение котораго составляеть главную злобу настоящаго времени. Эгоистическимъ клиномъ графъ Толстой раскалываетъ этотъ упорно неподдающийся разрышению вопросъ, сводя задачу соціальной политики къ вопросу личной гигіены. Въ этомъ смыслѣ онъ правъ, говоря, что ларчикъ общественнаго благоустройства открывается просто. Пусть только каждый правильно стремится къ своему собственному счастью—и въ результатѣ необходимымъ образомъ окажутся и возростаніе общественнаго богатства, и приближеніе къ идеалу человѣческой справедливости.

Послъ всего сказаннаго сдълается понятнымъ, почему графъ Толстой имъть право на то внимание и интересъ, съ какимъ отнеслось къ нему наше обшество. Онъ родной сынъ своего времени. Онъ пережиль вев крупнъйшіе вопросы разума и совъсти современнаго человъка и не устрашился, не бъжалъ оть этихъ, иногда мучительныхъ, вопросовъ, но взялъ на себя трудный подвигь ихъ уясненія и разръшенія. Съ безпримърной у насъ настойчивостью приложилъ онъ всё силы своихъ огромныхъ дарованій къ отысканію нужной человіку истины. Онъ искаль эту истину не умомъ только, а встмъ нравственнымъ существомъ своимъ, не въ кабинетъ писателя, а въ широкой и разнообразной жизни народа. Усилія его увънчались успъхомъ-онъ разобрался въ лабиринтъ сложной человъческой природы и даль свои отвъты на основные, неизбъжные вопросы современной мысли. Многое въ этихъ отвътахъ несогласно съ господствующимъ міровозэрѣніемъ, съ ходячими взглядами общества, многое въ нихъ кажется страннымъ и оригинальнымъ. Но въ этой оригинальности—главнан заслуга графа Толстого, такъ-какъ въ основѣ ея лежитъ то новое, что предстоитъ человѣчеству пережить и переработать въ недалекомъ будущемъ.





## ОГЛАВЛЕНІЕ

І. Общая характеристика графа Толстого, какъ мысли-	
теля	5
II. Общая характеристика художественнаго творчества	
графа Толстого	23
III. «Дътство, отрочество, юность»	46
IV. Повъсти и разсказы	61
V. Разсказы изъ севастопольской и кавказской жизни .	82
V. Разсказы изъ севастопольской и навкасска	100
VI. «Семейное счастье»	
VII. «Война и Миръ».	106
III. «Анна Каренина»	128
IX. «Смерть Ивана Ильича»	149
Х. Этическое ученіе графа Толстого.	166
ХІ. Значеніе этическаго ученія графа Толстого	185

